

Дочь капитана – “Капитанская дочка”

О. Н. ИГНАТЕНКО,

кандидат филологических наук

Пушкину нравилось, как строил свои исторические романы Вальтер Скотт; он говорил, что у шотландского романиста история изображена “домашним образом”. Пушкин ставил своей задачей показать пугачевское восстание не с официальной точки зрения, а объективно; он хотел осмыслить причины и корни восстания, высказать свое мнение о нем, введя в произведение вымышленных персонажей и переплетая их судьбы с реальным историческим событием. Пушкин не случайно обратился к мемуарному жанру – “семейственным запискам”. Эта форма была наиболее близка, доступна читателям. Она давала возможность оценить самого рассказчика, прежде чем его глазами увидеть пугачевский бунт. Гринев – человек очень честный и искренний. Он правдиво и иронично вспоминает о своей юности, о своих недостатках, совсем не считая себя героем. Именно поэтому мы верим повествованию Гринева о пугачевском восстании, тому, что оно описано правильно и объективно. Создать эту атмосферу доверительного и достоверного рассказа помогают и единицы морфемного уровня.

В повести множество существительных с суффиксом *-к-*, который, “соединяясь с существительными, не изменяет их значения, но придает им разговорную окраску” (Кожин А.М., Крылова О.А., Одинцов В.В. Функциональные типы русской речи. М., 1982. С. 120). Вспомним, как Гринев впервые приезжает в Белогорскую крепость: он входит в “чистенькую комнатку”, на стене которой висят “лубочные картинки”, “старушка в телогрейке” разматывает “нитки”.

Есть слова с другими разговорными суффиксами: Белогорская крепость – это “деревушка, окруженная бревенчатым забором”, семья коменданта живет в “деревянном домике”, “рядом со старушкой” – Василисой Егоровной – сидит “кривой старичок” Иван Игнатъевич; приходит урядник “Максимиыч”. Василису Егоровну автор называет “капитаншей”, “комендантшей”. К окраске разговорного стиля примыкает уменьшительно-ласкательная эмоциональная окраска в суффиксах *-ик-*, *-ок-*, *-ушк-*, что подчеркивает добрые, мягкие, спокойные отношения между героями.

Интересна в повести оппозиция имен собственных. “Петр Андреевич”, “Иван Игнатьич”, “Алексей Иваныч” – эти имена и отчества с разговорными суффиксами *-ич-*, *-ыч-* принадлежат офицерам; толь-

ко по отчеству (с тем же суффиксом) называли представителей низшего сословия – “Максимиыч”, “Савельиыч”, “Антипьевна” (независимо от возраста). Молодых служанок называли именами с суффиксом *-к-*, в данном случае имеющим оттенок пренебрежительности: “Прачка Палашка, толстая и рябая девка, и кривая коровница Акулька как-то согласились в одно время кинуться матушке в ноги...”. Эта оппозиция по сословной принадлежности прослеживается очень четко. Но есть и другая, более важная для Пушкина оппозиция.

Слова с суффиксами разговорного характера чаще всего встречаются в речи автора-рассказчика; суффиксы, совмещающие разговорный оттенок с уменьшительно-ласкательным, – в речи Василисы Егоровны, капитана Миронова, Савельича. Речь Швабрина отличается книжным характером, в ней есть иноязычные слова, канцелярские выражения. А вот слова с уменьшительными суффиксами произносятся Швабриным насмешливо, с издевкой, с желанием оскорбить собеседника. Когда Гринев прочитал Швабрину свои любовные стихи, тот с презрением назвал их “стишками”, напоминаящими ему “любовные куплеты” Тредьяковского. Желая опорочить Машу в глазах Гринева, он советует ему действовать с ней “не песенками”, вместо “стишков” подарить ей пару серег.

Такое отчетливое противопоставление речи героев на морфемном уровне свидетельствует о намерении автора создать смысловую оппозицию: образованный столичный дворянин Швабрин – простое провинциальное дворянство. Оппозиция “столица – провинция”, как это часто бывает у Пушкина, отражает и нравственную оппозицию: бесчестье, зло, бездуховность – честь, добро, милосердие. Простота семейств Гриневых и Мироновых – это простота, дающая четкость нравственной позиции в ситуации выбора, что для Пушкина (вспомним эпитафию “Береги честь смолоду”) было основным пафосом повести. Недаром дороге сердцу Пушкина семьи Мироновых и Гриневых близки к простым людям и солдатам, которыми они управляют строго, но справедливо, по-отечески, составляя вместе с ними национальную общность – русский народ.

Вся повесть Пушкина окружена особой атмосферой народности. Большинство эпитафий к главам заимствовано из устного народного творчества, в этих народных песнях, пословицах много слов с суффиксами эмоциональной оценки, характерными для этих жанров: “Сторона ль моя, сторонушка, (...) И хмелинушка кабацкая”; “Только выслужила головушка Два высокие столбика, Перекладинку кленовую, Еще петельку шелковую”. Вообще, определенные суффиксы, например суффикс *-ушк-* в речи капитана Миронова имеют явно выраженный фольклорный характер: “А слышь ты, Василиса Егоровна, – отвечал Иван Кузмич, – я был занят службой: солдатушек учил”; “Что ж вы, детушки, стоите? – закричал Иван Кузмич. – Умирать так умирать: дело служивое!”. В речи Василисы Егоровны стилизация под на-

родно-поэтическую речь особенно заметна: “Свет ты мой, Иван Кузмич, удалая солдатская головушка!”.

Старинный народный характер имеют обращения “старинушка”, “батюшка”, “матушка”. В начале повести вожатый обращается к Савельичу: “Это, старинушка, уж не твоя печаль, – сказал мой бродяга, – пропью ли я или нет”. Данное обращение выражает народное уважительное отношение к старому человеку. А вот значение слов *батюшка* и *матушка* сложнее. В Словаре В.И. Даля читаем: «Батюшка – отец (*уважит.*); почтительно и ласкательно всякому стороннему человеку. Старший по чину и званию говорит иногда младшему “батюшка”, давая понять, что снисходит к нему, но что они, впрочем, неровни». В повести Гринев-рассказчик называет своего отца исключительно “батюшкой”, и обращаясь к нему, и говоря о нем в третьем лице. Савельич обращается к своему юному воспитаннику “батюшка Петр Андреич”, “мой батюшка”, но никогда его так не называет за глаза. Василиса Егоровна обращается к Гриневу “мой батюшка”. Оренбургский генерал, человек пожилой, тоже говорит ему “батюшка”. Восставшие казаки называют Пугачева “нашим батюшкой”. Таким образом, “батюшка” – это едва ли не самое употребительное обращение к мужчине в повести. Оно выражает и уважение, и почтение, и простоту в общении независимо от возраста, и снисхождение.

В Словаре В.И. Даля о слове *матушка* сказано: “то же, что мать, родительница (*ласкат.*); всякая женщина в летах; попадья”. Благодаря повести Пушкина мы узнаем, что значение и употребление этого слова было гораздо шире: Гринев называет свою мать уважительно и ласково “матушкой”; за “матушку государыню” призывает постоять капитан Миронов своих детушек-солдат; “матушкой” называет Машу отец Гринева, расстроенный, что она покидает его семью; наконец, “матушкой” называет Машу Анна Власьевна, принявшая ее в Царском Селе. Слово *матушка* в чем-то аналогично слову *батюшка* не только в значении термина родства.

Другой особенностью словообразовательных суффиксов существительных в повести является их маркированность в качестве единиц, сигнализирующих о признаках сентиментализма как литературного направления. Связаны они с образом Маши Мироновой. Свое нежное, восхищенное отношение к Маше влюбленный Гринев-рассказчик выражает не только словами “милая”, “добрая”, но и словами с характерной суффиксацией: “губки”, “голосок” Маши, ее “светлица”, в которой остались “лампадка” и “зеркальце”, – все это можно считать данью сентиментализму с его “чувствительными”, “приятными” словами.

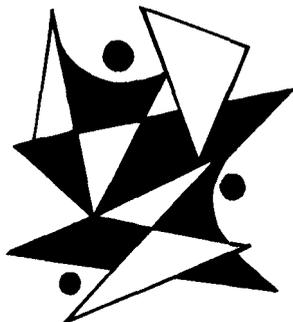
Важная семантико-стилистическая роль суффиксов в повести Пушкина “Капитанская дочка” отразилась и в самом названии повести – из двух производных слов, суффиксы в них имеют и смысловое содержание, и выполняют стилистическое задание. Грамматически главенствующим является слово “дочка”. Суффикс *-к-* имеет разго-

ворную окраску, выделяемую на фоне нейтрального слова “дочь”: “Швабрин описал мне Машу, капитанскую дочь, совершенную дурочку” – Гринев-рассказчик, еще не зная Машу Миронову, относится к ней с предубеждением, поэтому она для него “капитанская дочь”, человек чужой, малопривлекательный. Разговорное “дочка” создает эффект приближения рассказчика и читателя к персонажу, непринужденность мемуарного повествования: “Моя любовь уже не казалась батюшке пустою блажью; а матушка только того и желала, чтоб ее Петруша женился на милой капитанской дочке”. Особенно четко это заметно при сопоставлении с официальным “дочь капитана Миронова”: “Знаю, что вы не богаты, – сказала она (императрица. – *О.Н.*), – но я в долгу перед дочерью капитана Миронова”.

Суффикс *-к-* в слове *дочка* имеет и уменьшительно-ласкательное значение, подчеркивающее теплоту отношений в семье Мироновых. “Милой капитанской дочкой” она стала и для родителей Гринева. Слово *дочка* отражает и характер Маши Мироновой, то есть выполняет и смыслообразующую функцию на уровне идейного содержания текста. Маша – “благоразумная и чувствительная девушка”, она нежная, кроткая, ласковая, легко краснеет, падает в обморок, то есть имеет ту слабость, которая так сильно действует на сердце мужчины. А оппозиция “капитанская дочка” и “Капитанская дочь, Не ходи гулять в полночь...” позволяет охарактеризовать и нравственные свойства ее натуры, подчеркнуть, что они не соответствуют тому, что рассказывает о ней Швабрин.

Таким образом, производное суффиксальное слово *дочка*, будучи прямо в тексте сопоставленным с непродуцированным *дочь*, позволяет точно и выразительно подчеркнуть авторскую мысль, свидетельствует о целенаправленном использовании богатейших смысловых и экспрессивных возможностей русского словообразования.

Производным является и слово “капитанская”. Суффикс относительного прилагательного *-ск-* выражает признак родственного отношения: Маша – дочь капитана. Но Пушкину нужно было подчеркнуть не только “принадлежность” Маши своему отцу, но и унаследованные от него качества характера. Несмотря на чувствительность, кротость, Маша проявляет мужество и твердость духа, когда дело касается вопросов чести или когда нужно спасти возлюбленного. Именно соединение слабости и силы, кротости и активности, обходительности и твердости и делает Машу такой привлекательной, положительной героиней в глазах автора и читателя. Эта “многослойность” содержания проявляется только в атрибутивном словосочетании “Капитанская дочка”; она утратилась бы в названии “Дочь капитана” или “Дочка капитана”. Поэтому практически невозможен перевод названия повести А.С. Пушкина на язык аналитического строя: все богатство содержания и стилистическая маркированность утрачиваются.



“Кругом тонула Россия Блока...”

*О евангельской параллели
в поэме В.В. Маяковского “Хорошо!”*

*В.А. ВОРОПАЕВ,
доктор филологических наук*

К библейским образам и ситуациям как средству выражения непреходящих общечеловеческих начал обращались художники всех эпох. В русской литературе к текстам Священного Писания прибегали Пушкин, Гоголь, Достоевский, Чехов и другие писатели. К евангельским сюжетам и образам на протяжении всего своего творчества обращался и Маяковский. Так, например, его ранняя поэма “Человек” целиком построена на аналогии главного героя – лирического “я” поэта – с Иисусом Христом. В настоящей заметке мы попытаемся обосновать одну параллель, проливающую дополнительный свет на образ Блока в поэме Маяковского “Хорошо!”.

Знаменитая евангельская притча повествует о том, как ученики, плывя в лодке по Галилейскому морю, увидели Христа, идущего по водам. Спаситель велел Петру идти к Нему. Тот пошел по воде, но, испугавшись бури и ветра, начал тонуть. Тогда Иисус поддержал его и сказал: “Малoverный! Зачем ты усомнился!” (Мф. 14, 22–31).

По словам Эккермана, Гете считал это евангельское повествование глубоко истинным и драгоценным. “Это одна из самых прекрасных легенд, – сказал мне Гете, – и я люблю ее больше всех. В ней высказано высокое учение, что человек верою и присутствием духа побеждает даже в самых трудных предприятиях, но стоит ему поддаться ничтожному сомнению, и он погибает” (Эккерман И.П. Разговоры с Гете в последние годы его жизни. М.–Л., 1934. С. 547).

Образ евангельского Петра всплывает в описании Маяковским событий Октябрьской революции в поэме “Хорошо!”. Судьба Блока здесь осмысляется через непреходящий смысл евангельского повествования. Отмечая внутреннее смятение Блока, его два “ощущения революции”: “хорошо” и “библиотеку сожгли”, Маяковский как бы уподобляет его усомнившемуся, тонущему Петру:

Кругом
 тонула
 Россия Блока...
 Уставился Блок –
 И Блокова тень
 Глазеет, на стенке привстав...
 Как будто
 оба ждут по воде
 шагающего Христа.

Усомнившийся Петр тонул, но Иисус удержал его и тем спас от гибели.

Но Блоку
 Христос
 являться не стал

(Маяковский В.В. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1955. Т. 8. С. 266).

“Раздвоение” Блока, символизирующее его два “ощущения революции”, персонификация его тени могут ассоциироваться в сознании читателя с образом сомневающегося Петра, являющимся в данном случае как бы двойником Блока. Как писал Маяковский в статье “Умер Александр Блок”, – “дальше дороги не было. Дальше смерть. И она пришла” (Там же. Т. 12. С. 22).

Следует, однако, иметь в виду, что психологическое содержание образа Блока в поэме, конечно, не исчерпывается данной евангельской параллелью. Маяковский невольно творит памятник Блоку, запечатлевая его лик для потомков. Христос здесь звучит почти как “цитата” из Блока, его некий опознавательный знак. Именно такой Блок Маяковского – в смятении ждущий Христа и оставленный Богом – врезается в память читателей поэмы.



РОЛЬ ПЕЙЗАЖА В РАССКАЗЕ К.Г. ПАУСТОВСКОГО “СНЕГ”

А. М. БЕЛОШИН

В рассказе К. Паустовского “Снег”, написанном в 1943 году, действие происходит во время войны, и пейзаж предзимья, открывающий повествование, наполнен скрытой тревогой: “За домом, за облетевшим садом белела березовая роща. В ней с утра до сумерек кричали галки, носились тучами над голыми вершинами, накликали ненастье”.

Описание природы, создающее атмосферу сиротства и бесприютности, глубоко созвучно внутреннему состоянию молодого лейтенанта Потапова, возвращающегося после ранения на фронт и случайно узнающего, что его отец умер: “Потапов прошел через город к реке. Над ней висело сизое небо. Между небом и землей наискось летел редкий снежок... Темнело. Ветер дул с того берега, из лесов, выдувал слезы”. Лейтенант сомневается, нужно ли ему теперь заходить в родной дом: “Мысль о том, что в отцовском доме живут чужие, равнодушные люди, была невыносима”. Но он не знает, что поселившаяся в доме эвакуированная из Москвы певица Татьяна Петровна прочитала его письмо с фронта, адресованное отцу, которого к тому времени уже не было в живых: “Я закрываю глаза и тогда вижу: вот я отворяю калитку, вхожу в сад. Зима, снег, но дорожка к старой беседке над об-

рвом расчищена, а кусты сирени все в инее. В комнатах трещат печи. Пахнет березовым дымом”.

Узнав, что лейтенант со дня на день может приехать с фронта, она понимает, что “ему будет тяжело встретит здесь чужих людей и увидеть все совсем не таким, каким он хотел бы увидеть”.

Утром Татьяна Петровна сказала Варе, чтобы она взяла деревянную лопату и расчистила дорожку к беседке над обрывом”. И действительно, Потапов считает: “Теперь это все для меня будто чужое – и городок этот, и река, и дом”, но, подойдя к дому, видит: “К беседке велла расчищенная в снегу дорожка”. Это конкретная деталь зимнего сада повторяется: “Женщина взяла его за рукав и повела по расчищенной дорожке”. Метафорическое значение ее очевидно: на протяжении всего рассказа и певица, и Потапов пытаются вспомнить, где же они видели друг друга раньше, расчистить, так сказать, тропинки памяти. В финале рассказа, повторяясь три раза, возникает мотив тропы. Потапов пишет в письме к Татьяне Петровне, что видел ее “по тропе в Ореанду. На скамейке около тропы сидела девушка... Она увидела меня, встала и пошла навстречу... С тех пор я полюбил Крым и эту тропу...”. Героям удается найти тропу и к сердцам друг друга. Этот пейзажный образ становится символом найденного контакта никогда ранее на самом деле не встречавшихся людей: Татьяна Петровна ни разу не была в Крыму, и Потапов ошибся.

Встреча двух людей, внезапно ощутивших глубокое душевное родство, происходит в окружении традиционного романтического пейзажа: сад, беседка, сирень, луна. Необычно только то, что их встреча происходит зимой – сад в снегу, сирень в инее. Писатель с любовью описывает ветхую беседку: “Потапов прошел в беседку, положил руки на старенькие перила”. Беседка, как и сад, словно живые: “Сад как бы вздрогнул. С веток сорвался снег, зашуршал”. Эта деталь – сыплющийся легкий снег – возникает в рассказе еще дважды, создавая особую атмосферу хрупкости, трепетности, поэтичности: “С дерева беззвучно сорвалась птица, стряхнула снег. Он долго сыпал белой пылью, запорошил стекла”; “На ее ресницах и на щеках таял снег, осыпавшийся, должно быть, с веток”. Такой “высветленный”, мягкий, лиричный тон пейзажа соответствует психологическому настроению героев.

В обыденном сознании зимний пейзаж ассоциируется с чистотой, белизной, светом, покоем. Если обратиться к символике снега в мифопоэтической традиции, то его роль приобретает в рассказе Паустовского особую глубину: “Снег, устилающий поля в зимние месяцы, возбуждал представление о белом покрове, в который одевается земля (...) Зима есть смерть природы, покров этот называется саваном” (Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. В 3 т. Т. 1. М., 1995. С. 122). Потапов зимой узнает, что его отец умер, он приходит на его могилу, засыпанную снегом.

Но у снега есть и другое важное мифологическое значение: на праздник Покрова Богородицы нередко выпадал снег, и “естественно было сблизить брачное покрывало небесной богини со снежным полом” (Там же. С. 123). Отсюда пословица, приводимая А.Н. Афанасьевым: “Мать-Покров! Покрой землю снежком, меня женишком!”, а падающий снег сулил молодым счастье.

Рассказ “Снег” исследователи называют нежнейшей лирической акварелью. Действительно, пейзаж дается в полутонах: “Дни стояли мягкие, серые. Река долго не замерзала; от ее зеленой воды поднимался пар”; “Мутно розовело небо”; “Туманная луна поднялась уже высоко. В ее свете слабо светились березы, бросали на снег легкие тени”; “Снега тускло светили в окна”; “Меркнувшее небо, бледное море”; “Никак не мог погаснуть неяркий закат”.

Обостренное чувство природы, свойственное Паустовскому, проявилось в полной мере в рассказе “Снег”.

В описании пейзажа он использует весь диапазон художественных возможностей от импрессионистической детали, фиксирующей летучие мгновения бытия, реалистически точных зарисовок быта до символически многозначного образа снега. Дочитав рассказ до конца, мы понимаем, почему Паустовский назвал его именно так – “Снег”.

В годы войны писатель искал, чем поддержать в человеке мужество жить и бороться. Паустовский пытался напомнить о реальностях желанной мирной жизни. Образ маленького провинциального домика соединяет в себе черты городского и деревенского быта: дом Потапова “стоял на горе, над северной рекой, на самом выезде из городка”, то есть на околице. Он, в сущности, ничем не отличается от обычного деревенского дома – со скрипучей калиткой, со старинным колокольцем в сенях, на котором была отлита смешная надпись: “Я вишу у дверей – звони веселей!”; “Внизу под горой бренчали пустыми ведрами женщины – шли к проруби за водой”. Эта размеренная провинциальная жизнь теперь представляется Потапову такой привлекательной: “Звонит ли колокольчик у дверей? – спрашивает он в письме к отцу. – Неужели опять буду умываться с дороги нашей колодезной водой из кувшина? Помнишь? Эх, если бы ты знал, как я люблю все это отсюда, издали... Я вспоминал об этом в самые страшные минуты боя. Я знал, что защищаю не только всю страну, но и вот этот ее маленький и самый милый для меня уголок – и тебя, и наш сад, и вихрастых наших мальчишек, и березовые рощи за рекой, и даже кота Архипа”.

В акварельном, небольшом рассказе благодаря пейзажу Паустовскому удалось создать трогательно-лиричный, конкретный и одновременно обобщенный образ родного уголка, живущий в душе каждого человека.



“Человек создан для счастья...”

Вставные афоризмы в прозе В. Токаревой

Н. М. КАЛАШНИКОВА

Рассказы и повести В. Токаревой привлекательны не просто житейскими историями, не только типами “маленьких людей”, к которым так внимательна всегда была русская литература, но и философским осмыслением мира, жизни, человека. Любимые героини писательницы – люди творческие не столько в силу своих профессий, сколько по своей натуре, по своей сути. Более всего их (как впрочем, и самого автора) волнует проблема счастья. Персонажи много размышляют, обобщают свой жизненный опыт, осваивают сокровищницу чужого опыта, накопленного веками и отлитого в лаконичную, совершенную форму.

Проза В. Токаревой насыщена афоризмами, 11 малых повестей и 25 рассказов содержат 259 афоризмов.

Рассмотрим те афоризмы в тексте произведений писательницы, которые представляют собой чужую мысль в потоке собственных размышлений автора или персонажа.

Функции афоризма в прозе В. Токаревой зачастую зависят от способа его введения в авторское повествование. Чаще всего это прямая речь: «Маркин женился не по любви (...). Егоров женился (...) по страстной любви. (...) Маркин ему завидовал. Лидка знала, что муж ее не любит, и, чтобы удержать, почти каждый год рожала ему детей. А Егоровская Ирина не хотела тратить красоту и молодость, и единственного сына пришлось вымалывать и выпрашивать ценой слез и унижений. Он любил ее долго, лет пятнадцать, а разлюбил в один день.

Как говорил Антон Павлович Чехов: “Женись по любви или без любви – результат один”. Так что у них с Маркиным был один и тот же результат, но там хоть дети, а здесь разгромные, испепеляющие страсти, которые сейчас, издавека, кажутся ничем» (“Длинный день”).

В этом описании конкретной жизненной ситуации ключевые слова образуют противопоставления: “любовь – не любовь”, “каждый год рожала детей – вымалывать единственного сына”, “любил долго – разлюбил в один день”. Два образа жизни сомкнулись в единой точке. Вывод следует после чеховского афоризма из повести “Три года”, к

которому токаревский герой присоединяет итоговую фразу со своей поправкой: "...но там хоть дети, а здесь разгромные испепеляющие страсти, которые сейчас, издалека кажутся ничем". Афоризм используется как средство иронической характеристики ситуации.

Рассмотрим такой же пример введения афоризма: «Я знаю, что никакого переворота в науке я не сделаю и искусственного счастья не создам, ибо не бывает искусственного счастья (...).

Что касается моего генеральства, то никакой я не генерал, и не в чинах дело. Как говорил Антон Павлович Чехов: "Наличие больших собак не должно смущать маленьких собак, ибо каждая лает тем голосом, который у нее есть".

Я – старший научный сотрудник. СНС. Эти три буквы напоминают мне серию номеров "Жигулей" в городах Ставрополь, Саратов, Симферополь. И старших научных сотрудников – столько же, сколько "Жигулей" в этих городах. И мне это нисколько не обидно...» ("Звезда в тумане").

Ключевое слово в первом абзаце – "я". Во втором содержится характеристика ("не генерал") и оценка ситуации: "не... в чинах дело". Ибо важно не это. Важное сформулировано в афоризме Чехова, который вынесен в отдельный абзац и служит идейным центром размышлений героини, выступая средством ее характеристики, свидетельствуя о способности к объективной самооценке и чувстве юмора.

Афоризмы вводятся не только в виде прямой, но и косвенной речи: «Во все времена были оптимисты и пессимисты. Максим Горький, например, утверждал, что человек создан для счастья. А Велимир Хлебников считал, что человек создан для страданий.

То же самое было сто лет назад. Вольтер говорил, что мир ужасен, а его современник философ Лейбниц восклицал: "О! Этот лучший из миров..."» ("Этот лучший из миров").

Афоризм может выступать в виде самостоятельного предложения, включенного в несобственно-прямую речь как очередное звено в цепи доводов-аргументов, он не имеет ссылки на источник, если хорошо известен или относится к "массово воспроизводимым" единицам: «Творчество он всегда ставил на первое место, впереди семьи, а тем более впереди внеплановых развлечений. Мужчина должен выразить свое "я". Оставить будущим поколениям свои установки. Например, о вреде табака, О пользе просвещения. Пусть это известно и до него. Он напомнит еще раз. Курить вредно. Это сокращает жизнь. А жизнь дается один раз. Пусть о нем думают, что он сундук с нафталином. Сундук, между прочим, полезная вещь. А эти молодые, певцы помойки, – им бы только вымазать все черной краской. Зачеркнуть прошлое. Тогда было не так. Сейчас – так. А между прочим, на СЕЙЧАС надо смотреть из потом. Есть такая поговорка: поживем – увидим. Пусть поживут, а потом оглянутся и посмотрят» ("Здравствуйте").

Афоризм Н. Островского в этом отрывке теряет свой высокий первоначальный смысл, так как идет сразу после банальных лозунгов “Куришь вредно. Это сокращает жизнь”.

Афоризм может использоваться полностью, но первая его часть повторяется дважды. “Со дна души всколыхнулись привычные комплексы. Он хуже всех. Рожденный ползать. А рожденный ползать, как известно, летать не может” (“Маша и Феликс”). Повтор части афоризма несет эмоциональную нагрузку: это словно двойной приговор героя самому себе, осознание обреченности на жизнь серую и бескрылую. Такой прием повтора как бы увеличивает весомость приговора.

На столкновении различных изречений в диалоге героев может строиться развитие конфликта: «...Я спрашиваю у мамы: “А зачем люди живут?” Она говорит: “Для страданий. Страдания – это норма”. А папа говорит: “Это норма для дураков. Человек создан для счастья”. Мама говорит: “Ты забыл добавить – как птица для полета. И еще можешь сказать – жалость унижает человека”. Папа говорит: “Конечно, унижает, потому что на жалость рассчитывают только дураки и дуры. Умные рассчитывают только на себя”. А мама говорит, что жалость – это сострадание, соучастие в страдании, и на нем держится мир, и это тоже талант, который доступен многим, даже и умным» (“Самый счастливый день”).

Афоризмы отражают противоположные точки зрения и комментируются каждой из сторон. Мать использует изречение В. Хлебникова, но передает его неточно, приблизительно. Отец, цитируя В. Короленко, точен. Он использует первую часть выражения, убирая сравнительный оборот “как птица для полета”, что придает особую категоричность формуле. Его педантичность в цитировании подчеркивает прагматизм, жесткость, эгоизм характера. Мать иронизирует над его жизненными установками, насмешливо завершая афоризм, используемый отцом, и дополняя его вариацией другой – горьковской – формулы, облюбованной идеологией советской тоталитарной системы. Отец иронии не принимает, выдвигает уже собственные аргументы все в той же категорической, безапелляционной форме. Мать раскрывает свою точку зрения, причем тоже прибегая к афоризмам.

Афоризм, являясь частью сложного бессоюзного предложения, помещенный в конец строфы, подчеркивает ожесточенную решимость героини добиться своего: “Вероника грубо соврала, но не раскаивалась в проделанном: цель оправдывала средства” (“Длинный день”). Форма прошедшего времени глагола в афоризме подчеркивает скорее частность случая, а не закономерность.

“На меня надели платье-макси. Это платье мне привезли год назад из Парижа, и у меня появилась еще одна проблема шикарного платья. Оно было совершенно неприменимо и висело в шкафу, как шуршащее, сверкающее и бесполезное напоминание о том, что человек со-

здан для счастья” (“Счастливым концем”). В жизни героини разлад, и быт, повседневность изгоняют всякую надежду на счастье. Безнадежность ситуации, несоответствие желаемого и действительного подчеркивает это известное изречение, помещенное в конце предложения.

Иногда Токарева видоизменяет афоризм, и он приобретает иронический оттенок: “На берег вышла Фемина. Не женщина, а именно Фемина, потому что у советских женщин не бывает такой спины. Композитор забеспокоился (...) Спина возникла на фоне моря как некий символ спасения. Ибо известно: красота и женщины спасут мир” (“На черта нам чужие”). Композитор в творческом кризисе. Он достиг известности, обласкан вниманием, но ощущает творческую бесплодность попыток что-либо создать. О гармонии ему напоминает фигура балерины на фоне моря.

В повести “Длинный день” журналистка Вероника Владимирцева разбирает курьезный конфликт, возникший на охоте между рабочим Нечаевым и инженером Зубаткиным из-за зайца: заяц не мог бежать от преследователей, так как на лапы налипла грязь, и приблизившийся Зубаткин собрался в упор стрелять в несчастное животное. Нечаев наставил ружье на Зубаткина. Завязалась драка. В результате Зубаткин подал заявление в суд, хотя напал первым. Нечаев написал письмо в газету с просьбой защитить зайца, так как “общественность должна быть на стороне зайца, а не Зубаткина”. Ситуация юмористическая. Нечаев, с точки зрения зубаткиных, – “дурак”, а с точки зрения Вероники, – “чудак”, живущий по законам справедливости и добра. Вероника на стороне Нечаева, ей кажется, что такие люди необходимы, что именно на них держится мир, потому что только они могут смело противостоять трезвой, расчетливой подлости и цинизму, творить добро: “...На каждого Зубаткина есть по Нечаеву. На каждого умного – по дураку. А именно дураки, вернее, чудачки, что тоже разновидность дураков, – именно они спасали мир” (“Длинный день”). Писательница соотносит два афоризма: уже названную формулу Достоевского и афоризм М. Горького “Чудачки украшают мир”.

Функции афоризмов в прозе В. Токаревой разнообразны: готовая формула используется как средство характеристики героя, его эмоционального состояния. Выбор афоризма может подчеркивать ограниченность персонажа, если он апеллирует к готовым общеизвестным формулам (так называемым массово воспроизводимым единицам); обыденность или даже тривиальность ситуации, иногда – несоответствие стершейся фразы и действительности. Автор может использовать афоризмы как отправную точку повествования или поиска героями собственной позиции. При этом они словно заново осмысливают афоризм и комментируют его.



Письма А. П. Чехова из Ниццы

*Н. С. АВИЛОВА,
доктор филологических наук*

Письма А.П. Чехова поражают разносторонностью тем, им обсуждаемых, в них ярко отражается личность писателя, его нравственный облик. Об этом свидетельствуют и письма за краткий период с октября 1897 по март 1898 года, когда, по настоятельной рекомендации врачей, он избрал местом своего пребывания Ниццу, где остановился в русском пансионе.

Приехав в Ниццу, Чехов почти в каждом письме обязательно упоминает о погоде: “Здесь тепло (...) море ласково, трогательно”; “Погода продолжает быть чудесной. Небо совершенно чисто, в воздухе тихо”; “Сидеть на набережной, греться и смотреть на море – это такое наслаждение”. Однако в письме А.И. Сувориной признается: “Природа здешняя меня не трогает, она мне чужда, но я страстно люблю тепло, люблю культуру... А культура прет здесь из каждого магазинного окошка, из каждого лукошка; от каждой собаки пахнет цивилизацией”.

В то же время Чехов жалуется В.М. Соболевскому, что теплый климат мешает ему: “Писать в хорошую погоду, когда хочется вон из комнаты, это трудно, очень трудно”. А.С. Суворину пишет, что плохо работается на чужбине: “Испытываешь неудобство, точно подвешен за одну ногу”; “работать на чужой стороне за чужим столом неудобно”, – пишет он сестре. “Писать не дома – сущая каторга, точно на чужой швейной машине шьешь”, – объясняет он далее.

Но, конечно, не одна погода и не одна непривычка к чужому месту мешали писателю работать. Чехов пишет о себе, что он “ленивый хо-хол”. А эта “лень” объясняется непрекращающимся процессом в легких, который он старается не замечать, но о котором проговаривается в письме художнице А.А. Хотяинцевой: “Третьего дня, прекратилось кровохарканье, которое продолжалось три недели – шутка сказать! Кровь шла понемногу, но подолгу”. В одном из писем В.П. Соболевскому он пишет, что переехал в пансионе этажом ниже, так как “подниматься мне нелегко”.

Но в письмах домой он никогда в этом не признается; его обычные формулировки: “Я здоров, все благополучно”. Правда, братьям он пи-

шет не так оптимистично. В письмах Ивану и Александру он говорит, что “здоровье ничего себе”. Но очевидно желание Чехова не беспокоить родных. Только один раз, уже незадолго до отъезда в Россию он пишет сестре Марии Павловне, что “в марте кровохарканья не было”, как бы подготавливая ее к тому, что здоровье его не поправилось, хотя в течение всей зимы сообщал, что “здоровье (...) великолепно”.

Забота о родных – постоянная тема писем Чехова. Находясь в Ницце, он выражает беспокойство о материальном положении семьи, боится, что мало оставил денег, учит сестру, каким образом ей следует получать за него деньги из книжных магазинов А.С. Суворина, за спектакли и т.п.: “Мне известно, что я мало денег оставил”, затем время от времени спрашивает, хватает ли ей средств.

В то же время, узнав о желании двоюродного брата – семинариста Владимира Митрофановича Чехова провести дома рождественские каникулы, он посылает ему на это деньги и сообщает об этом в письме, добавляя: “Заранее благодарю за то, что летом приедешь в Мелихово”.

Чехов постоянно посылает что-нибудь домой, в большинстве случаев не по почте, а пользуясь оказиями. Обычно подробно указывает, кто и что привезет: “С каждый русским, уезжающим в Россию, я стараюсь послать что-нибудь”, – пишет он сестре, при этом боится не угодить: “Посылать приходится вдруг; о том, что кто-нибудь уезжает в Россию, узнаешь обыкновенно случайно”.

Сразу же по приезде в Ниццу он посылает Марии Павловне и Ивану Павловичу выигрышные билеты, матери – карты. Не ограничиваясь подарками, дает в письмах врачебные советы. Так, в письме Александру Павловичу он подробно наставляет, как лечить горло его жены, Наталии Александровны, в письме сестре советует, как поступить, если у матери Евгении Яковлевны воспалятся вены на ногах. Узнав, что ей надо лечить зубы, он пишет сестре: “Если матери нужно починить зубы, то устрой так, чтобы она поехала в Москву; денег не следует жалеть в таких случаях”.

Письма отцу и матери преимущественно деловые. Отец снабжал Антона Павловича получаемыми в Мелихове периодическими изданиями, и Чехов неизменно откликнулся на это, например: «Передай папаше, что “Таганрогский вестник” по прочтении я каждый раз отдаю здесь одному доктору, тоже таганрожцу. Скажи, что я благодарю»; «Передайте папаше, что... “Биржевые ведомости” и 3 номера “Таганрогского вестника” получим, благодарю», – пишет он матери.

Наиболее многочисленны и разнообразны письма Чехова сестре. За зиму 1897/1898 гг. он отправил ей свыше сорока писем на самые разные темы, главным образом, конечно, о Мелихове и его хозяйстве, о родителях, о различных мелочах и событиях своей жизни за грани-

цей. В этих письмах – тоска по Мелихову, постоянное желание принять участие в жизни родных. В письме, касающемся усовершенствования его флигеля, которое Мария Павловна предприняла в отсутствие брата, он беспокоится, хватит ли ей денег: “Получение [денег] в почтамте не будет стеснять тебя очень. Если тяжело, то потери – что делать? За труды я буду присылать тебе награды”. В другом письме: “Награда за труды по устройству флигеля и сада уже послана, ты получишь ее около 12–13 октября”.

Часто в письмах к сестре обсуждается вопрос о том, что прислать родным. Отправив посылку, Чехов подробно инструктирует Марию Павловну: “Из того, что найдешь дома, галстук отдай Ване, ножницы и серый кошелек – мамаше, металлический кошелек – папаше, остальное возьми себе”.

При приближении рождественских праздников он подробно поясняет Марии Павловне в письме от 25 ноября 1897 г., кому и сколько дать денег и какие подарки подарить деревенским детям: “Не забудь: на Рождество сотскому Григорию дать 1 рубль, священнику, когда приходит с крестом, не давать меньше 3-х рублей (ведь мы, кроме денег, ничего не даем); узнай, сколько в Талежской школе мальчиков и девочек и, посоветовавшись с Ваней, купи для них подарков к Рождеству. Беднейшим валенки; у меня в гардеробе есть шарфы, оставшиеся от прошлого года, можно и их пустить в дело. Девочкам что-нибудь поцветистее. Конфет не нужно”. Не забывает о прислуге: “Очень рад, что Андрей старается; за это я пришлю ему подарок”; “Купил Маше и Анюте подарки и пришлю их с оказией”; “Передавая Маше и Анюте подарки, скажешь им, что это из французского золота и что во Франции пробы не кладут”.

Ближе к весне Чехов делает сестре распоряжения по саду: “Если берлинские тополи, что около крыжовника, не пересадили в парк, что около пруда, то пересадить теперь, весной. И лиственницы тоже, по крайней мере, одну из них, среднюю, а также бузину, что около балкона под забитым окном”; “...около лилий и пионов поставь палочки, чтобы не растоптали. У нас две лилии. Одна около твоих окон, другая около белой розы, по дороге к нарциссам”; “До моего приезда не обрезывайте роз. Отрежьте только те стебли, которые сгнили зимой или очень больны; но осторожно обрезывайте, имея в виду, что больные стебли иногда выздоравливают. Фруктовые деревья нужно покрасить известкой. Под вишнями не мешаает удобрить землю известкой же”.

В письме от 4 марта 1898 г. советует повесить еще скворечники: “Ты не любишь скворцов. Право, это очень полезный народ. На твоём месте я прибавил бы в саду и на дворе еще пять скворещен”; “Еду в Париж, оттуда в Мелихово, где уже, как пишут, распевают скворцы”, – пишет он 5 апреля 1898 г.

Когда наступило время возвращаться в Россию, Чехов неоднократно стал напоминать о том, что пора вывешивать на флигеле флаг: “Приготовляй флаг, скоро приеду”, – пишет он сестре. Как известно, флаг на флигеле, где работал писатель, вывешивался в знак того, что он дома.

Думая о Мелихове, Чехов не забывал и о своих собаках. Так, в письме сестре он просит: “Сними лаек и пришли мне фотографию... Здесь интересуются и все спрашивают, что это за звери. Лаяк здесь нет”. С теплым юмором Чехов вспоминает в письме к сестре о своей таксе: “Передай Хине Марковне (таксу звали Хина. – *Н.А.*), что я сегодня завтракал у Марка Матвеевича Антокольского...”, очевидно, намекая на отчество, которое он дал таксе.

Все письма о Мелихове полны горячей привязанности к этому месту. Оно олицетворяло для Чехова его дом, северную, неяркую природу, о которой он когда-то писал: “У нас природа грустнее, лиричнее, левитанстее...”.

В одном из писем сестре Чехов так описывает свой день: “1) Нужно посетить одного больного, присланного сюда Антокольским; 2) побывать на русской зоологической станции, где работают наши зоологи; 3) сделать визит Харьковскому окулисту Гиршману, который приехал с больным сыном...”. Мы видим, что и за границей писатель занимается врачебной практикой.

В Ниццу к Чехову приезжал художник Браз, чтобы заново писать его портрет. Предыдущим портретом художник был недоволен. Антон Павлович покорно позировал, хотя и уставал. О портрете, написанном Бразом в Ницце, Чехов так отозвался сестре: “Говорят, что я очень похож, но портрет мне не кажется интересным. Что-то есть в нем не мое и нет чего-то моего”.

А.П. Чехов отрицательно относился к публикации своих портретов, особенно помещенных в чуждых ему изданиях, так, он просил Марию Павловну: “Напиши скорее Барскову, что я сочту за личное себе одолжение, если он откажется от намерения напечатать мой портрет в своем журнале. Я не люблю своих портретов...”

Письма Чехова художнице А.А. Хотяинцевой стали регулярными с тех пор, как она зимой 1897 года приехала работать в Париж и ненадолго посетила Ниццу, где много рисовала, в том числе карикатуры на проживающих в пансионе постояльцев.

Письма Чехова к Хотяинцевой полны юмора и симпатии к ней. Так, упоминая о Мелиховском флигеле, Чехов неоднократно в письмах к художнице называет его “духовой печкой”: “Теперь же мне жарко, как в моей духовой печке...”; “Маша пишет, что моя духовая печь приняла благообразный вид; и меня, после ее письма, потянуло домой, в духовую печь. Давно уже я там не был”. Хотяинцевой он жалуется, что соскучился по снегу: “Мы с Вами, как лайки без снега, чувствуем себя не совсем ладно”.

В письме сестре он пишет: “Вчера возил я А.А. Хотяинцеву в Монте-Карло и показывал ей рулетку, но она, как вообще женщины, лишена того хорошего любопытства, которое так двигает мужчин, и на нее ничто не производит впечатления. Одетая она в то же платье, в каком была в Мелихове. Среди русских, обедающих в Pension russe, она самая интеллигентная, даже сравнивать нельзя”.

В воспоминаниях А.А. Хотяинцевой сказано: “Приблизительно около десяти часов (вечера) где-то по соседству кричал осел, и каждый раз, несмотря на то, что мы знали об этом, так громко и неожиданно, что Антон Павлович начинал смеяться. Ослиный крик стал считаться сигналом к окончанию нашей вечерней беседы” (“Лит. наследство”. 1960. 68. 610–611). Когда она уехала, Чехов написал ей в письме: “Ночью кричал осел. Что это значит?”

В Ницце Чехов написал четыре рассказа: “В родном углу”, “Печенег”, “На подводе”, “У знакомых”. Свою малую продуктивность он, помимо прочего, объяснял постоянными завтраками, обедами, чаепитиями. Он писал сестре: “Кажется, что ешь непрерывно, для писания же нужно прежде всего избегать сытости”.

Посылая рассказы в газету “Русские ведомости”, Чехов требовал обязательной присылки корректуры: “Корректуру я читаю не для того, чтобы исправлять внешность рассказа; обыкновенно в ней я заканчиваю рассказ и исправляю его, так сказать, с музыкальной стороны, – писал он В.М. Соболевскому. “Пожалуйста, пришлите корректуру, так как рассказ еще не кончен, не отделан и будет готов лишь после того, как я перепачкаю вдоль и поперек корректуру. Отделять я могу только в корректуре, в рукописи же я ничего не вижу”, – пишет он Ф.Д. Батюшкову, редактору журнала “Cosmopolis”.

Интересно замечание Чехова в письме Батюшкову от 15 декабря: “Вы выразили желание (...) чтобы я прислал интернациональный рассказ, взявши сюжетом что-нибудь из местной жизни. Такой рассказ я могу написать только в России, по воспоминаниям. Я умею писать только по воспоминаниям и никогда не писал непосредственно с натуры. Мне нужно, чтобы память моя процедила сюжет и чтобы на ней, как на фильтре, осталось только то, что важно или типично”.

В письме своему постоянному корреспонденту редактору газеты “Новое время” А.С. Суворину Чехов жалуется на невозможность продуктивной работы в тех условиях, где он живет, и на мучающее его безделье: “Я ничего не делаю, только сплю, ем и приношу жертвы богине любви. Теперешняя моя француженка очень милое доброе создание 22 лет, сложена удивительно, но все это мне немножко прискучило и хочется домой”. В другом письме: “Я обленился, как араб, и ничего не делаю, решительно ничего и, глядя на себя и на других русских, все больше убеждаюсь, что русский человек не может работать и быть самим собой, когда нет дурной погоды”. Конечно, это преувели-

чение: “Пишу маленький роман”, – сообщал Чехов Суворину в декабре 1897 г. Очевидно, он имел в виду рассказ “У знакомых” или рассказ “Ионыч”. Во всяком случае, становится ясно, что замыслы рассказов и мысленная работа над ними у А.П. не прекращались.

Резкую границу в отношении Чехова к Суворину положило дело Дрейфуса, офицера французского генерального штаба, обвиненного по ложному доносу в измене и шпионаже. С самого начала Чехов был уверен в невинности Дрейфуса и всей душой был солидарен с Золя, выступившим в его защиту. Чехов пишет Суворину: “Золя – благородная душа, и я (...) в восторге от его порыва. Франция чудесная страна, и писатели у нее чудесные”.

Дело Дрейфуса выявило для Чехова такие черты газеты “Новое время”, которые он никак не мог принять. Об этом он пишет Суворину 6 февраля 1898 года: “Большие писатели и художники должны заниматься политикой лишь настолько, поскольку нужно обороняться от нее. Обвинителей, прокуроров, жандармов и без них много...”

Чехов пишет о деле Дрейфуса и другим своим корреспондентам. Так, в письме Батюшкову читаем: «Громадное большинство интеллигенции на стороне Золя и верит в невинность Дрейфуса. Золя вырос на целых три аршина; от его протестующих писем точно свежим ветром повеяло (...) “Новое время” просто отвратительно». В письмах братьям – о том же: «“Новое время” вело себя просто гнусно. По сему поводу мы со старцем обменялись письмами (...) и замолкли оба. Я не хочу писать и не хочу его писем».

Особое место занимают письма Чехова к П.Ф. Иорданову, члену городской управы в Таганроге. Во-первых, Чехов и из Ниццы, как и из Мелихова или Москвы, заботится о пополнении Таганрогской библиотеки: “Всю эту зиму я был бесполезен для библиотеки (...) В мое отсутствие дома уже кое-что собралось (...) Деньги, которые собрались у Вас, Вы не тратьте, а копите их для постройки нового здания библиотеки...”. В другом письме: “Чтобы положить начало иностранному отделению библиотеки, я купил всех французских классических писателей...” и т.д.

Во-вторых, начались хлопоты по установке памятника Петру I в Таганроге в связи с 200-летием со дня основания города. Чехов и здесь проявляет большую заботу, стремится привлечь к созданию памятника скульптора Антокольского. Он обещает Иорданову поговорить с Антокольским в Париже, и обещание это исполняет: будучи в Париже по дороге в Россию он встречается с Антокольским и договаривается с ним о памятнике. Он пишет Иорданову: «...Сегодня я был у Антокольского и сделал, кажется, больше, чем нужно: во-первых, завтракал и дал слово, что приду завтракать еще послезавтра, и во-вторых, получил от Антокольского для нашего будущего музея “Последний вздох”, овал из гипса, верх совершенства в художеств[енном]

отношении. Голова и плечи распятого Христа и чудесное выражение, которое меня глубоко растрогало...». Далее в письме сообщаются подробности о памятнике Петру Великому, о котором Чехов договорился с Антокольским.

В письме уже из Мелихова Чехов подробно обсуждает с Иордановым место в городе, где следует воздвигнуть памятник. Позднее, когда памятник к юбилею города был заложен, Иорданов приносит благодарность Антону Павловичу за содействие, причем Чехов по своей манере отвечает, что хлопотал о памятнике не он, а сам Иорданов.

А.П. Чехов заботится и о многом другом: в письме В.А. Гольцеву он предлагает через франко-русское агентство в Ницце содействовать продаже библиотеки журнала "Русская мысль"; в письме Суворину выражает озабоченность судьбой журнала "Хирургия": "Я должен спасти ее во что бы то ни стало". Когда судьба этого издания была решена положительно, Чехов получил от редактора журнала Дьяконова теплую благодарность за поддержку: "Вы так много сочувствовали мне в этом деле и так поддерживали меня в минуту горести, что я не сомневаюсь и в настоящую минуту радости встретить с Вашей стороны искреннее и бодрящее сочувствие", – писал Дьяконов.

Лидии Стахивне Мизиновой Антон Павлович из Ниццы написал всего три письма. При этом интересен эпизод, спровоцированный хлопотами Лидии Стахивны и Ольги Петровны Кундасовой о материальной помощи Чехову. Ему пришлось писать письмо с отказом от помощи некоему Я.Л. Барскову, редактору журнала "Детский отдых". Как всегда, Чехов делает это чрезвычайно деликатно: "Не знаю, как благодарить Вас (...) Вы обязали меня своим участием на всю жизнь" и далее в том же письме: "Нет надобности присылать мне деньги (...) вместо денег пришлите мне что-нибудь интересное почитать..."

В письме же Л.С. Мизиновой Чехов высказался весьма жестко: "Зачем я поддался Вашим убеждениям и написал тогда Кундасовой? (Кундасова – хорошая знакомая Чехова, называвшаяся им также прозвищем "астрономка". – Н.А.). Вы лишили меня моей Reinheit. Если бы не Ваши настоятельные требования, то, уверяю, я ни за что бы не написал того письма, которое теперь желтым пятном лежит на моей гордости. У меня, главным образом благодаря Ольге Петровне, может развиться мания преследования. Не успел очнуться от письма Барскова, как получил две тысячи рублей от левитановского Морозова (Морозов С.Т., владелец имения Успенское. – Н.А.). Я не просил этих денег, не хочу их...". Позднее Антон Павлович деньги Морозову отослал.

Интересно также его мнение относительно предпринятой Мизиновой попытки открыть модную мастерскую. В этом намерении Антон Павлович ее поддержал, что явствует из его письма от 27 декабря 1897 г. Вместе с тем в этом письме он пишет: "Желаю Вам (...) отлич-

ного настроения. При Вашем дурном характере последнее необходимо, как воздух, иначе от Вашей мастерской полетят одни только перья”. Сестре же по этому поводу писал: “Что Лика и как ее мастерская? Она будет шипеть на своих мастериц, ведь у нее ужасный характер. К тому же она очень любит зеленые и желтые ленты и громадные шляпы, а с такими проблемами во вкусе нельзя быть законодательницей мод и вкуса. Но я не против, чтобы она открыла мастерскую. Ведь это труд как бы то ни было” (разрядка моя. – Н.А.).

Вот эти желтые и зеленые ленты, которые, с точки зрения Чехова, свидетельствуют об отсутствии вкуса у Мизиновой, позднее отразились в его пьесе “Три Сестры”. Там Ольга упрекает Наталью Ивановну в том, что у ней зеленый пояс: “Ольга. На вас зеленый пояс! Милая, это нехорошо! Наташа. Разве есть примета? Ольга. Нет, просто не идет... и как-то странно”.

В письмах из Ниццы мы находим советы Чехова молодым литераторам, к которым он обычно относился очень внимательно.

Так, в письме Е.М. Шавровой-Юст он пишет: “Рукопись непременно пришлите, жду (...) не ленитесь”; в другом письме: «“Гипнотизер” – это хорошенький рассказ; только жаль, что первая половина его несколько растянута в ущерб второй, и жаль, что Вы ничего не сделали из Жени, которая является лишним колесом в часах; она не нужна и мешает. (...) В заглавии “Идеал” слышится что-то мармеладное. Во всяком случае это не русское слово и в заглавия не годится».

Л.А. Авиловой он пишет по поводу опубликованного в “Петербургской газете” № 155 от 9 июня 1897 г. рассказа “Забытые письма”: «Ах, Лидия Алексеевна, с каким удовольствием я прочитал Ваши “Забытые письма”. Это хорошая, умная, изящная вещь. Это маленькая, куцая вещь, но в ней пропасть искусства и таланта, и я не понимаю, почему Вы не продолжаете именно в этом роде. (...) Я говорю про тон, искреннее, почти страстное чувство, изящную фразу... Гольцев был прав, когда говорил, что у Вас симпатичный талант (...)»

Кроме “Забытых писем” во всех рассказах так и прут между строк неопытность, неуверенность, лень. Вы до сих пор еще не набили себе руку, как говорится, и работаете, как начинающая (...) Вы не работаете над фразой; ее надо делать – в этом искусство. Надо выбрасывать лишнее, очищать ее. (...) А Вы, не обращая внимания на мою критику, собираете еще кое-что и пришлите мне...».

Письма Чехова из Ниццы отражают его многообразные интересы, его живую, деятельную натуру, и это несмотря на ухудшение здоровья, о котором он прекрасно знал; то есть все, что мы подразумеваем под именем “Чехов”, проявилось в полную силу в эту зиму 1897/98 гг.; проявились все особенности и достоинства этой великой и гуманной души.

ЭПИСТОЛЯРНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ А. С. ПУШКИНА И А. П. ЧЕХОВА

Н. А. КОВАЛЕВА

Идейное и языковое богатство писем русских классиков XIX в. общепризнанно. В них оттачивались мысль и манера письма, языковые приемы, способ индивидуального отражения реальности; излагались лингвистические и литературоведческие пожелания.

Письма Пушкина представляют большой интерес для истории русского литературного языка. Пушкинская эпистолярная лексика и фразеология, грамматика и орфография являются образцами живой разговорной речи.

Выразительность и краткость стиля писем Пушкина достигались его тщательной работой над ними. Сопоставляя черновики и беловики писем, можно проследить редакторскую работу поэта. Вначале набрасывается эскиз будущего письма, оно фрагментарно, его отдельные части могут быть тематически не объединены. Черновик возникает как спонтанная письменная речь. Беловое письмо содержит более точные слова и выражения, появляются новые варианты предложений, опускаются отдельные слова и фрагменты текста, при этом нередко добавляются резкие характеристики.

«Черновики – свидетельство огромной работы Пушкина над письмом. Письма также тщательно отделяются, как и стихи (композиция, стиль, лексика и т.д.). Часто одно и то же место исправляется много раз (например, в черновом письме к В.Ф. Вяземской от конца октября 1824 г. имеется 10 вариантов одной фразы; краткий отзыв об элегии Баратынского в письме к Бестужеву от 12 января 1824 г.: “Признание – совершенство” переделывается пять раз» (Левкович Я.Л. Автобиографическая проза и письма Пушкина. Л., 1988. С. 265).

Наблюдая над живой русской речью, Пушкин приходит к выводу, что в грамматическом строе русского языка очень много “исключений” и особенностей: “Грамматика не предписывает законов языку, но изъясняет и утверждает его обычай”.

В письме к Н.Н. Раевскому в 1827 г. он излагает свои представления о стиле литератора: “Писатель должен владеть предметом, несмотря на затруднительность правил, как он обязан владеть языком, несмотря на грамматические оковы”. По мнению Пушкина, журналист должен: “1) знать грамматику русскую 2) писать со смыслом: т.е. согласовывать существительное с прилагательным и связывать их глаголом”.

Синтаксис писем Пушкина лаконичен и прост. Поэт не любит сложных предложений; простое предложение построено грамматически строго, как правило, оно содержит подлежащее и сказуемое. Например, в письме к А.А. Дельвигу: “Всю ночь не спал; луны не было, звезды блистали; передо мной в тумане тянулись полуденные горы”. Каждая часть бессоюзного предложения характеризуется двумя ударениями, части лаконичны, их ритм – это ритм свободного стиха.

В особенностях орфографии писем Пушкина современный исследователь находит примеры отражения просторечного произношения, которые свидетельствуют о стремлении Пушкина писать так, как говорят простолудины: “Долг Плещееву заплочен”; “За ея поцалуем явлюсь лично”.

Язык “хорошего общества”, по мнению Пушкина, должен складываться из национальной русской основы, церковнославянских элементов и европейских заимствований. Поэт отстаивает принцип “разноязычия” при общении с разными адресатами, который в XIX веке получил свое дальнейшее развитие и углубление.

Переписка Чехова также занимает исключительное место в русской эпистолярной литературе – по широте и важности затрагиваемых проблем, по своим художественным достоинствам. Ю. Айхенвальд писал: “Наша заинтересованность его письмами еще более объясняется тем, что они – тоже творчество, что они тоже представляют собой ценный литературный памятник, художественную красоту. В нашей эпистолярной словесности займут они одно из первых мест. Литературные без литературности, непринужденные без чванства, богатые перлами остроумия и юмора, и примечательных мыслей, полные оригинальных критических суждений, звучащие почти неуловимой тонкой мелодией единственного чеховского настроения, письма Чехова похожи на его рассказы: от них трудно оторваться. Распечатать письмо от Чехова, пробежать его бисерные строки, – это, вероятно, было удивительным наслаждением, будто в свои конверты вкладывал он драгоценные крупицы своего таланта” (Айхенвальд Ю. Письма Чехова. М., 1915).

В письме к А.С. Суворину от 27 октября 1888 г. Чехов так объясняет свой метод работы: “Художник наблюдает, выбирает, догадывается, компокует – уж одни эти действия предполагают в своем начале вопрос; если с самого начала не задал себе вопроса, то не о чем догадываться и нечего выбирать. Чтобы быть покороче, закончу психиатрией; если отрицать в творчестве вопрос и намерение, то нужно признать, что художник творит непреднамеренно, без умысла, под влиянием аффекта; поэтому, если бы какой-нибудь автор похвастал мне, что он написал повесть без заранее обдуманного намерения, а только по вдохновению, то я назвал бы его сумасшедшим” (здесь и далее цит. по: Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. Письма в 12 т. М., 1983).

Специфику своего стиля Чехов раскрывает в письме к брату Александру от 10 мая 1886 г.: «1) отсутствие продлинновенных словоизвержений политико-социально-экономического свойства; 2) объективность сплошная; 3) правдивость в описании действующих лиц и предметов; 4) сугубая краткость; 5) смелость и оригинальность; беги от шаблона; 6) сердечность».

По моему мнению, описания природы должны быть весьма кратки и иметь характер *à propos*. Общие места вроде: “Заходящее солнце, купаясь в волнах темневшего моря, заливало багровым золотом” и проч. “Ласточки, летая над поверхностью воды, весело чирикали”, – такие общие места надо бросить. В описаниях природы надо хвататься за мелкие частности, группируя их таким образом, чтобы по прочтении, когда закроешь глаза, давалась картина. Например, у тебя получится лунная ночь, если ты напишешь, что на мельничной плотине яркой звездочкой мелькало стеклышко от разбитой бутылки и покати-лась шаром черная тень собаки или волка и т.д. Природа является одушевленной, если ты не брезгуешь употреблением сравнения явлений ее с человеческими действиями и т.д.”.

Эти принципы работы требуют точных и ярких образов».

В письме А.С. Лазареву-Грузинскому от 20 октября 1888 г. Чехов пишет: «Ваш недостаток: в своих рассказах Вы боитесь дать волю своему темпераменту, боитесь порывов и ошибок, т.е. того самого, по чему узнается талант. Вы излишне вылизываете и шлифуете, все же, что кажется Вам смелым и резким, Вы спешите заключить в скобки и кавычки (напр. “В усадьбе”). Ради создателя, бросьте и скобки и кавычки! Для вводных предложений есть отличный знак, это двойное тире (–имярек–). Кавычки употребляются двумя сортами писателей: робкими и бесталанными. Первые пугаются своей смелости и оригинальности, а вторые (Нефедовы, отчасти Боборыкины), заключая какое-нибудь слово в кавычки, хотят этим сказать: гляди, читатель, какое оригинальное, смелое и новое слово я придумал! (...) Женщин нужно описывать так, чтобы читатель чувствовал, что Вы в расстегнутой жилетке и без галстука, природу – то же самое. Дайте себе свободы».

Сопоставляя особенности языка А.С. Пушкина и А.П. Чехова, А.П. Чудаков пишет: “Их сходство заключается в том, что оба любили лаконизм и импрессионистский штрих” (Чудаков А.П. Пушкин и Чехов: завершение круга // Чеховиана: Чехов и Пушкин. М., 1998. С. 36–37).

Собрание писем – это увлекательная книга, “одна из самых блестящих, богатых идеями и мыслями книг в русской литературе” (Лернер Н.О. Проза Пушкина // История русской литературы XIX века. М., 1908. Т. I. С. 427).

Астрахань

ЗАМЕТКИ О ПУШКИНЕ*

П. БИЦИЛЛИ

I. Один из источников Евгения Онегина

Читая памятники русской и иностранной литератур, то и дело натыкаешься на все новые и новые источники Пушкина. Приведу два примера, сопоставление которых наглядно показывает диапазон интересов поэта. Дона Анна говорит: “бедная вдова, все помню я свою потерю, слезы с улыбкою мешаю, как Апрель”. Этот образ Пушкин нашел у Карамзина: “Сумрак и ясность, ненастье и ведро сменяются теперь в душе моей, подобно как в непостоянном апреле” (Письма русского путешественника под 28 февраля 1790). Стих из Анчара “Сюда и птица не летит и зверь нейдет” взят из народной сказки: “вить сюда мало и птица не залетает и редко зверь забегает” (Сказка о смирном мужике и драчливой жене, Ровинский, Русская народная картотека 1, 216 слл.)¹. Сказка, как это видно уже по заглавию, близка по мотиву к Сказке о рыбаке и рыбке. Так работа над русским фольклором питала пушкинское творчество вообще.

Особый интерес представляют заимствования Пушкина из тогдашней русской “литературы на случай” – публицистики, литературной полемики, интимных, или выдающих себя за таковые, писем, литературы частью рассеянной по журналам и альманахам, частью ходившей по рукам в рукописях. Два источника этого рода были мною уже указаны [См. *Slavia*, 1931, стр. 575 слл.] Приведу еще один, аналогичный, пример. В Сыне Отечества за 1813 год были напечатаны анонимные Письма из Москвы в Нижний Новгород (Перепечатаны в Р. Арх. 1876. III. 129–154)². Они посвящены избитой теме, “французомании”. Но автор трактует ее по-своему. Отвергая французский язык, отрицая его значение как образца для русского, автор, однако, противопоставляет французскому языку не славянский, как такой, по образцу которого должен формироваться русский, а языки классической древности: “Ни одна из новейших литератур не усовершенствовалась... от подражания новейшим же: все они без изъятия, почерпнули красоты свои в единственном и неиссякаемом источнике всего изящного – у Греков и у Римлян... пока мы не будем учиться, т.е. посвящать все время первого возраста... на изучение Греческого, или по крайней мере Латинского языка вместе с Русским, до тех пор мы... будем не говорить, а болтать, не писать, а лишь марать бумагу”. О славянском языке автор даже не упоминает. Рассуждения автора облече-

ны в излюбленную тогдашнюю форму писем к незаемному “другу”. В одном из них автор приводит якобы полученное им, конечно, им же самим сочиненное, письмо гвардии капитан-поручика Африкана *Назутовского*. Фамилия фиктивного капитана “говорящая”, ибо в письме дело идет о злополучном устройстве капитанского носа, сделавшем для него невозможным произносить как следует французский “носовой эн”, из-за чего “решился навсегда жребий жизни” капитана. Однажды, на петербургском балу, он увидел некую красавицу и осведомился о ней у приятеля. “Это *Темира*, – отвечал он... – *Темира!* Так она чужестранка... – Ничего не бывало! Русская. При святом крещении ее назвали в угодность бабки ее, Татьяною; но это имя такое грубое, что ей никак нельзя было при нем оставаться и для того, как в семействе своем, так и в городе, она слывет под именем *Темиры*”. Капитан знакомится с Темирою, она становится его невестой. Однако вскоре, обнаруживается, и притом на людях, его неумение совладать с “гнусным энном”. Его поднимают на смех, Темира, смущенная этим, спешит удалиться и шлет ему письмо с отказом. Автор отмечает, что письмом было писано по-французски.

Вот откуда в “Евгении Онегине” и имя Татьяны, и извинения автора перед читателем за то, что он впервые освятил таким именем страницы нежные романа, и указание, что письмо к Онегину она написала по-французски, и то, что сказано о ее матери – “стала звать Акулькой прежнюю Селину”... “и русский Н, как N французский произносить умела в нос”. Думается, что и строфа “Латынь из моды вышла ныне”... подсказана соображениями автора Писем о значении латинского языка и рассыпанными в Письмах латинскими цитатами. Весьма вероятно также, что пожелание поэта никогда не встретиться на бале с академиком в чепце стоит тоже в связи с Письмами. В “Онегине” находим и имя Темиры... “Темира, Дафна и Лилета, как сон забыты мной давно” (гл. IV, стр. III).

По правильной догадке Бартенева, автором Писем был Иван Матвеевич Муравьев-Апостол, отец декабристов Сергея, Матвея и Иполита (1765–1851). Он был известен как знаток классиков, переводил Аристофана и Горация, и сам писал на древних языках. После катастрофы с сыновьями (Сергей Иванович, как известно, был казнен, Матвей Иванович приговорен к бессрочной каторге, а Иполит Иванович застрелился после неудачи восстания Черниговского полка), Иван Матвеевич написал элегию на греческом языке, в которой оплакивал их участь (см. Якушкин, М.И. Муравьев-Апостол, Р. Стар. 1886. Т. 51, стр. 164)³.

Ему принадлежит Путешествие в Тавриду, привлекшее внимание Пушкина. Из Одессы Пушкин просит Вяземского написать предисловие к Бахчисарайскому Фонтану: “Посмотри, писал он между прочим, в Путешествии Апостола-Муравьева статью Бахчисарай, выпиши из

нее, что поспоснее, да заворожу своею прозою...” (4 ноября 1823). В другом письме от ноября того же года он снова говорит Вяземскому об этой книге. Из Тригорского он поручает Л.С. Пушкину прислать ее ему (Ноябрь 1824). В том же месяце пишет Дельвигу: “Путешествие по Тавриде прочел я с чрезвычайным удовольствием...”

Если Иван Матвеевич Муравьев-Апостол был точно автором Писем, [Гершензон, знаток эпохи, принимал авторство Муравьева-Апостола без оговорок. См. Грибоедовская Москва, Берл. 1922, стр. 23]⁴, то Пушкин не мог не знать об этом: слишком многообразны были связи между ними, пусть и не непосредственно личного свойства (Муравьев, отец декабристов, был и членом Российской Академии, а также и членом знаменитой Беседы любителей Российского слова). Ему легко было поэтому обратить внимание на Письма. Но, разумеется, он мог набрести на них и ненароком, когда в деревне случалось ему “до обеда возиться со старыми журналами соседа”.

II. Символика Пиковой Дамы

Я уже имел случай указать на одну особенность стихотворений Пушкина: частое повторение в каждом одних и тех же слов, прием внушения известного образа, образа-идеи, образа эмоции. [Этюды о русской поэзии, Прага, 1926, *passim*]. Этот прием не чужд и пушкинской прозе. В Пиковой Даме он им широко использован. Здесь находим несколько, постоянно повторяющихся, навязывающихся сознанию, слов и словосочетаний. Одно из таких слов имеет прямое отношение к “неподвижной идее” Германна: идее т р е х карт. Это само слово т р и. Обладательница тайны трех карт появляется в окружении трех служанок: “Старая графиня сидела в своей уборной... Т р и д е в у ш к и окружали ее...” “Не прошло двух минут, графиня начала звонить... Т р и д е в у ш к и вбежали в одну дверь, а камердинер в другую”. Графиня возвращается с бала: “в спальню вбежали т р и старья горничные...” У гроба графини появляется “старая (барская) барыня, ведомая под руку двумя девушками”. Три женщины – т р и парки, три, убившие графиню и сведшия Германна с ума, карты. Роковое число упоминается еще несколько раз: “Т р и дня после того Лизавете Ивановне молоденькая, быстроглазая мамзель принесла записочку...” “Не прошло т р е х недель... и (она) уже с ним в переписке...” у Германна, говорит Томский, на совести “по крайней мере т р и злодейства”. И. Лиз. Ивановна мучается этой мыслью: “у этого человека по крайней мере т р и злодейства на душе”. “Т р и дня после роковой ночи... Германн отправился в ***Монастырь...” Мертвая графиня приходит к Германну “без четверти т р и”.

В Пиковой Даме мелочно-точно определяется время каждого события. Игроки “сели ужинать в пять часов утра”. В конце главы – сло-

ва одного из игроков: “однако, пора спать: уже без четверти шесть”. Лизавета Ивановна увидела Германна в первый раз “через два дня после вечера” (у Нарумова). Увидев Германна, “она опустила голову... через пять минут взглянула опять...”, затем “шила около двух часов...” Для краткости опускаю все дальнейшие, многочисленные, столь же точные указания времени. Все они стоят в связи с центральным эпизодом, когда Германн, со взором, прикованным к часовой стрелке, ждет назначенной минуты. чтобы войти в дом графини, а затем ждет ее прибытия. Идея-символ хода времени (“время шло медленно”), отмечаемого б о е м ч а с о в (“в гостиной пробило двенадцать, по всем комнатам часы одни за другими пробили двенадцать – и все умолкло опять”), здесь, в этом эпизоде, с одной стороны усиливается, с другой дополняется в смысловом отношении символом б и е н и я с е р д ц а (“сердце его билось ровно...”). Дальнейшим усилением символа является слышимый Германном “дальний стук кареты”, затем “стук опускаемой подножки”. Судьба приближается: *So klopft das Schicksal an die Pforte*. Новый смысл этих символов раскрывается несколькими строками ниже: “Графиня сидела... качаясь направо и налево... Можно было бы подумать, что качание страшной старухи происходило не от ее воли, но по действию скрытого гальванизма”. Качающаяся как маятник графиня словно отождествлена с часами. Графиня судьба Германна, приходящая в назначенное время. Жизнь, судьба как бы подчинены ходу часов. “Ход часов лишь однозвучный раздаётся близь меня...” И у Блока: “в голубой далекой спальне твой ребенок опочил, тихо вышел карлик маленький и часы остановил”. В Пиковой Даме слова ч а с , ч а с ы встречаются девять раз. К “остановке часов”, к смерти графини Пушкин подводит читателя сразу с нескольких сторон. Сама графиня изображается с самого начала уже полумертвой, живущей автоматически “по действию скрытого гальванизма”: “Она участвовала во всех суетностях большого света; таскалась на балы, где сидела в углу, раздурманенная и одетая по старинной моде..., к ней с низкими поклонами подходили приезжающие гости, как по установленному обряду, и потом уже никто ею не занимался” (замечу мимоходом, что вероятно этим образом навеяна “тетушка” Анны Михайловны Шерер в Войне и Мире). Здесь намек на обряд прощания с умершей графиней: “родственники первые пошли прощаться с телом. Потом двинулись и многочисленные гости, приехавшие поклонами той, которая так давно была участницей в их суетных увеселениях”. В строгой символической соподчиненности частей – вплоть до словесных совпадений, состоит единство художественного слова у Пушкина. Лишь дочитавши до места, где Германн размышляет об отношениях между Чаплицким и графиней и говорит себе: “а сердце его престарелой любовницы сегодня перестало биться”, становится ясен “второй” символический смысл

слов: “когда Томский спросил позволения представить графине своего приятеля, сердце бедной девушки забилося”. Слова “мертвая старуха сидела о к а м е н е в” вскрывают второй смысл замечания о Германне, решающемся войти в спальню графини: “о н о к а м е н е л”. Образ Лизаветы Ивановны, поджидающей к себе Гермanna (“она сидела, сло ж а к р е с т о м голые руки...”), и образ Гермanna, сидящего у нея “с л о ж а р у к и”, готовят образ умершей графини: “усопшая лежала... с руками, сло ж е н н ы м и н а г р у д и...”. Такую же функцию подготовки дальнейшего выполняет описание прощания Гермanna с Лизаветой Ивановной. “Германн пожал ее х о л о д н у ю, б е з о т в е т н у ю р у к у, поцеловал ее наклоненную голову и вышел”. Здесь снова имеем перед собою пример так сказать двойной художественной мотивированности, поскольку этот эпизод подготавливает эпизод прощания барской барыни с графиней. “Она... одна пролила несколько слез, поцеловав х о л о д н у ю р у к у госпожи своей”. Впечатление х о л о д а с м е р т и подготавливается и усиливается сверх того многократным повторением соответствующих слов: “так и есть – ветер и п р е х о л о д н ы й”, говорит графиня. Лизавета Ивановна была “во сто раз милее наглых и х о л о д н ы х невест”. Получив письмо Гермanna, Лизавета Ивановна “не знала, что делать: перестать ли сидеть у окошка и невниманием о х л а д и т ь в молодом офицере охоту к дальнейшим преследованиям?.. Отвечать ли х о л о д н о и решительно?..” Она садится в карету “в х о л о д н о м плаще”. “Германн стоял прислонясь к х о л о д н о й печке”. Прощаясь с телом графини, Германн “несколько минут лежал на х о л о д н о м полу”. Англичанин, услышав, что Германн побочный сын графини, отвечал х о л о д н о: “Oh?”. Когда Лизавета Ивановна услышала от Томского имя Гермanna, “ее руки и ноги поледенели”. Образы смерти и погребения подготавливаются повторением еще одного символа: с в е ч и и л а м п а д ы. В комнате Лизаветы Ивановны, куда она уходила п л а к а т ь о своей доле, “сальная свеча темно горела в медном шандале”. В спальне графини “перед кивотом теплилась золотая лампада”. Когда графиню раздели, “свечи вынесли, комната опять осветилась одною лампадою”. “Утро наступило, Лизавета Ивановна погасила догорающую свечу”. Вокруг гроба графини стояли слуги “со свечами в руках”. Германн, после прихода призрака “засветил свечку и записал свое видение”. Для усиления настроения тревоги, ожидания, охваченности страстью, Пушкин несколько раз пользуется словами, вообще весьма у него частыми: т р е п е т , т р е п е т а т ь. Лизавета Ивановна при виде Гермanna “испугалась... и села в карету с таким трепетом неизъяснимым” (о “мистическом” н е и з ь я с н и м о м у Пушкина см. статью ак. П.Б. Струве в Пушкинском сборнике, Прага, 1931). Германн “следил с лихорадочным трепетом за различными оборотами игры”. Узнав, что заинтересовавший его дом принадле-

жит графине, “Германн затрепетал”. Дожидаясь, когда можно будет войти в дом, он “трепетал как тигр”. Спросив графиню о трех картах, он “с трепетом ожидал ответа”. Лизавета Ивановна, возвратившись с бала, “с трепетом вошла к себе...”. “Вдруг дверь отворилась и Германн вошел. Она затрепетала”. В Пиковой Даме раскрывается в полуфантастическом повествовании смысл “темного языка” ночи, который Пушкин учил во время бессонницы: “спящей ночи т р е п е т а н ь е”. Вместе с Германном Пушкин заглядывает “туда”, в неизвестное, в “другой план” бытия. Этому соответствует особый символ окна. “У окошка сидела за пальцами барышня, ее воспитанница...” “Однажды Лизавета Ивановна, сидя под окошком за пальцами, нечаянно взглянула на улицу и увидела молодого инженера., устремившего глаза к ее окошку”. “Лизавета Ивановна оставила работу и стала глядеть в окно”. “После обеда она пошла к окошку., но офицера не было.” “С того времени не проходило дня, чтобы молодой человек... не являлся под окнами их дома.” Влекомый “неведомой силой”, Германн остановился у дома графини “и стал смотреть в окно”. Во время последнего объяснения с Лизаветой Ивановной Германн “сел на окошко”. Все эти повторения готовят сцену, когда в окошко Германна заглядывает “кто-то” – его Судьба: “Кто-то с улицы взглянул к нему в окошко и тотчас отошел”. Это мертвая графиня. Сказав ему три карты, она ушла. “Германн слышал, как хлопнула дверь в сенях, и увидел, что кто-то опять поглядел к нему в окошко”.

Все бытовые мелочи у Пушкина строго мотивированы обстоятельствами данного момента и данной ситуации. И все они имеют и второй смысл, даже несколько таких смыслов, постепенно раскрывающихся. Наслаиваясь одна на другую, эти мелочи слагаются в намеренно-неопределенный, однако вполне выятный, н е и з ь я с н и м ы й образ-символ, смысл которого раскрывается в центральном моменте повествования. Такой прием постепенной подготовки, постепенного формирования символа дает Пушкину возможность уже этот самый центральный момент, высшего напряжения трагического конфликта отдельных судеб и страстей, изложить столь же бегло, столь же легко, и на первый взгляд небрежно, как и все остальное. Вследствие отсутствия задержек, пауз, впечатление трагизма только усиливается. Стремительное движение жизни не прекращается ни на миг. Техника Пушкина органически связана с его видением жизни. [Ср. мои Этюды о русской поэзии, стр. 126 ссл.] “Потустороннее”, “окультурное” [“Окультурная” сторона Пиковой Дамы воспринималась современниками Пушкина, должно быть, острее, чем сейчас, ибо для них были явственнее соответствующие намеки, рассеянные в повести: упоминание о Сен-Жермене, Казанове, “Месмеровом магнетизме” “скрытом гальванизме”.] и “посюстороннее”, обыденное, для Пушкина одно и то же, так что, строго говоря, слова “потустороннее”, “посюстороннее” здесь не у места. Судьбы людей имманентны их характе-

рам и потому есть внутренняя необходимость в сплетении этих судеб – “и от судеб защиты нет”. Поэтому все в Пиковой Даме может быть объяснено в согласии с “простым здравым смыслом”. Фантастическое разъясняется вполне просто. Никакого “объективного” Чорта (как у Гоголя) у Пушкина нет. От этого сама обыденная жизнь становится только таинственнее и, если угодно, ирреальнее: “Иль вся наша и жизнь ничто как сон пустой, насмешка Рока над землей”?

Примечания

* Текст “Заметок о Пушкине” дается в авторской редакции: П.М. Бицилли не всегда закавычивал названия произведений, часто нетрадиционно расставлял знаки препинания. В тексте сохранены скобки самого П.М. Бицилли, его же сноски заключены в квадратные скобки. Под цифрами даны сноски и примечания, сделанные публикатором.

¹ По-видимому, имеется в виду работа Дмитрия Александровича Ровинского (1824–1895) “Русские народные картинки” (1881–1893). Книга первая (всего было 9 томов) содержала Сказки и забавные листы (1881). (В другие тома входили Листы Исторические, Календари, Буквари, Притчи, Листы Духовные). Именно на нее и ссылается П.М. Бицилли. Главной страстью Д.А. Ровинского стало коллекционирование гравюр. Он создал уникальное собрание национального гравированного искусства. Материалы этой части коллекции легли в основу 4-томного “Подробного словаря русских гравированных портретов” (1886–1889). Д.А. Ровинский был почетным членом Академии наук и Академии художеств. Юрист, историк искусства, библиофил, собиратель графики, он все свои коллекции, весь капитал и все недвижимое имущество завещал музеям и библиотекам. Свыше 600 гравюр Рембрандта поступили в Эрмитаж. Русскую часть коллекции известный собиратель подарил Москве.

² “Русский Архив”, ежемесячный журнал, издававшийся Петром Бартевым (1863–1917).

³ “Русская старина”. Ежемесячное историческое издание (1870–1918).

⁴ Книга Михаила Осиповича Гершензона “Грибоедовская Москва” впервые вышла в России в 1914 году. К 1931 году в метрополии появилось еще два издания: в 1916 г. – второе, в 1928 – третье. Все три издания были осуществлены издательством М. и С. Сабашниковых.

Публикацию и примечания
подготовила **И.В. Анненкова**

“Чистая критика” Петра Бицилли

И. В. АННЕНКОВА,

кандидат филологических наук

Вторичность литературной критики бесспорна. Но иногда эта вторичность отодвигается на задний план. Почему? Потому что личность критика настолько грандиозна и многопланова, что сама становится предметом интереса ученых-филологов. Так произошло с личностями М. Бахтина, Р. Якобсона, Ю. Тынянова. Та же судьба (к счастью!) оказалась и у Петра Михайловича Бицилли. Один из выдающихся критиков и публицистов русского зарубежья с невероятной широкой эрудицией, с фундаментальными знаниями в области истории, философии, литературоведения и лингвистики вернулся в контекст русской культуры. Возвращение это иначе, как чудом, не назовешь: от почти полного забвения и умолчания его имени до осознания его фигуры как одной из ключевых в русской культуре первой половины XX века (См. книги: П.М. Бицилли. Избранные труды по филологии. М., 1996; П.М. Бицилли. Трагедия русской культуры. М., 2000; Доронченков А.И. Эмиграция “первой волны” о национальных проблемах и судьбе России. СПб., 2001, а также публикации в журнале “Русская речь”: 1994. №№ 1–2; 1995. № 6).

Возвращение это, конечно, еще не закончено: впереди глубокое осмысление его научного, эпистолярного и публицистического наследия как единого целого, заключающего в себе взгляды ученого на проблемы языка и нации, языка и государства, роли русской культуры и литературы в мире.

Литературно-критическое наследие ученого обширно: он был самым печатаемым автором “Современных записок”, его работы постоянно появлялись в “Числах”, “Новым граде”, “России и славянстве”, “Последних новостях”. Причем критиком он был многосторонним: современная литература русского зарубежья и метрополии, современная европейская литература и научно-филологические издания, а также текущие культурно-просветительские события, проходившие в Болгарии, стране пребывания ученого. Академическая квалификация позволяла ему не выпускать из поля “критического зрения” те аспекты литературы, которыми занимались ученые-филологи: текстологию, функциональную семантику и др. Такая открытость понимания литературы как единого мета-контекста позволяет рассматривать штудии ученого по истории русской литературы и языка художественных произведений как своеобраз-

разную литературоведческую критику. Граница между критикой как искусством и критикой как наукой (литературоведением) в таких работах П.М. Бицилли размыта. Пример подобного рода – публикуемая здесь статья “Заметки о Пушкине”, напечатанная в периодическом издании “Slavia” (Časopis pro slovanskou filologii. S podporou ministerstva školství a národní osvěty vydávají O. Hujer a M. Murko. Ročník XI. Sešť 3–4. 1932. Praha. С. 556–557) и ставшая продолжением статьи “Из заметок о Пушкине” (Там же. Ř. X, S. 3. 1931. С. 575–577).

В этом научном журнале, который был создан в 1922 году при поддержке чехословацкого правительства в рамках общей программы помощи русским беженцам, печатались лингвистические и литературоведческие статьи, обзоры и рецензии чехословацких, польских, югославских ученых; работы русских филологов были представлены как исследованиями эмигрантов (А. Бем, Е. Ляцкий, П. Бицилли, А. Кизеветт, В. Францев, Д. Чижевский и др.), так и крупнейшими представителями науки в метрополии, например, там были опубликованы статьи А. Селищева “Соканье и шоканье в славянских языках”, В. Перетца “К истории древнерусской лирики”, Обнорского “Заметки по русской диалектологии”. Выпуски этого научного периодического издания продолжают и сегодня.

Публикуемая статья П.М. Бицилли состоит из двух частей: I. Один из источников “Евгения Онегина” и II. Символика “Пиковой Дамы”. Объединив в одной статье анализ двух различных произведений, ученый объединил и два разных подхода в осмыслении творчества художника слова. Первая часть работы – дань традиционному биографически-текстологическому литературоведению, выявлению интертекстуальных связей в русской литературе, или, как их называл сам П.М. Бицилли, “родимых пятен”. Интересно и то, что предметом поиска для ученого были не только выдающиеся произведения и авторы, но и явления культурной жизни, на первый взгляд, малозначительные, тексты “литературы на случай”.

Такое внимательное отношение к мелким и незначительным литературным фактам у исследователя не случайно. В конце 20-х – начале 30-х гг. XX века наука о языке художественной литературы (в частности, русская формальная школа) стала четко осознавать, что изучение второстепенных писателей помогает подойти вплотную к шедеврам в истории литературы. Вот как об этом писал И.С. Розенкранц в рецензии на книгу “Вопросы поэтики” (Выпуск XIII. Русская поэзия. Сборник статей под ред. Б.М. Эйхенбаума и Ю.Н. Тынянова. Лг., Academia, 1929): “Лишь с недавнего времени было принято за аксиому, что изучение крупных писателей невозможно без знания их современников, хотя бы и третьестепенного значения. Крупный писатель подобен меловой горе, которая слагается из разнородных элементов, и эти

элементы часто многое разъясняют нам в творчестве великих писателей” (Slavia. Прага. R. XI. S. 3–4. С. 685–686).

Научно-академическая основа методологии П.М. Бицилли никогда не позволяла ему делать скоропалительных выводов о “творческой преемственности” или “мировоззренческом единстве” различных представителей русской литературы. В этом смысле его критика не была “пафосной”, или “риторической” (по определению М. Чудаковой). Не делает он этого и в “Заметках о Пушкине”. Напротив, факт литературной жизни (в данном случае “заимствования” Пушкина из И. Муравьева-Апостола) радостен для ученого сам по себе. И именно такой подход не позволял фактологическим разысканиям ученого переплавиться в критику “просветительского” или “назидательного” толка.

Вторая часть “Заметок о Пушкине” – это другой тип литературоведческих штудий – стилистико-семантический. П.М. Бицилли проводит в ней свою излюбленную идею о словах-образах, аккумулирующих в себе основные идеи и символы произведения художественной литературы. Ученый концентрировал свое внимание и внимание читателей на подобных приемах не только относительно творчества Пушкина. Те же идеи встречаются и в его работах о Достоевском, о Гоголе, о Салтыкове-Щедрине, о Сирине-Набокове (См. например, его работу Возрождение аллегории // Современные записки. Париж, 1936. № 61. С. 197–204. То же: Русская литература. 1990. № 2. С. 147–154 и Бицилли П.М. Трагедия Русской культуры. М., 2000. С. 438–450).

Рассмотрение и сопоставление подобных слов-символов, слов-идей в творчестве разных писателей было одной из составляющих теории П.М. Бицилли о “конгениальности” русской литературы, т.е. о сходном образом осмыслении проблем бытия русскими художниками слова.

Интересные наблюдения ученого о смысле символов *времени, окна, числа три* в “Пиковой Даме” читатель прочтет в тексте самой статьи. Позволил себе поспорить только с двумя образно-логическими пассажами мэтра. Кажется несколько натянутой связь, которую П.М. Бицилли проводит между словами-образами *лампада, свеча* и темой *смерти и погребения*. Свеча в комнате Лизы – естественная необходимость в XVIII веке: другого источника освещения тогда не знали; лампада же в комнате графини – атрибут отнюдь не мистический, а привычный в доме русского человека до 1917 года. Думается, в данном случае А.С. Пушкин выступает в роли “дотошного бытописателя”, нежели философа-символиста. А вот в примере со сложенными руками Германна, умершей графини и Лизы исследователь не увидел одной маленькой (сакрально-символической) детали: только у Лизы руки были сложены *крестом*. Сложенные руки старухи и Германна – это действительно символ смерти, причем смерти в первую очередь духовной: они оба стали жертвами своих *страстей*, тех самых страстей, которые сжигают ду-

шу без остатка и не оставляют надежды на обретение *покоя*. Лизины руки сложены *крестом* как символом *христианского смирения и бесстрастия*: она покорна Божьей воле и потому в конечном итоге оказывается победительницей рока, судьбы в мистическом плане.

Эта маленькая деталь осталась незамеченной П.М. Бицилли в силу его собственных рационалистических пристрастий: к религии (к христианству и православию в частности) он, судя по всему, был достаточно равнодушен и воспринимал ее через разум. Именно *ratio* заставляет его сделать вывод о том, что для Пушкина никакого объективного черта нет и что в “Пиковой Даме” все может быть объяснено в согласии с “простым здравым смыслом”. Чьим здравым смыслом?

Если бы это было только так и никак иначе, то “Пиковая Дама”, осмелимся предположить, не появилась бы на свет. Не было бы и “Бесов”, и “Бориса Годунова”. В том-то все и дело, что черт для Пушкина реален, хотя и не отождествляется с рогами и хвостом: эманация зла многолика.

Наши замечания ни в коей мере не претендуют на объективное понимание и осмысление пушкинских символов. Это лишь их интерпретация, а первенство их обнаружения и толкования принадлежит, бесспорно, Петру Михайловичу Бицилли.

Небольшие критико-литературоведческие “Заметки о Пушкине” демонстрируют нам умелое пользование ученым различными методами анализа художественного текста: и биографически-текстологическим, и стилистико-семантическим. “Критическая индивидуальность” (термин Н.А. Богомолова) П.М. Бицилли предстает перед нами в более или менее целостном виде: “низшие” уровни критики (организация текста) выводят исследователя на уровни “высшие” – относящиеся к художественному миру поэта.

В 1945 году П.М. Бицилли опубликовал работу “Пушкин и проблема чистой поэзии” (См.: Годишник на Софийския университет. Т. XLІ. Ч. II. 1944/45. София. См. также: Бицилли П.М. Трагедия русской культуры. М., Русский путь. 2000. С. 80–144), где развил свою идею о чистой поэзии как поэзии совершенной ритмико-звуковой формы, слитой воедино с содержанием. Такой идеальной, “чистой” поэзией ученый считал поэзию малых форм: когда восприятие стихотворения не растянуто во времени и читатель не успевает потерять нить гармонии, связующую “звуки, чувства и думы”.

Между тем сам Петр Михайлович Бицилли стал создателем *чистой критики*, лаконичной и образной, не утомляющей перечислением характерных особенностей, а увлекающей читателя за собой в круг образов и символов писателя или поэта. С блестящим образцом такого рода чистой критики Петра Бицилли мы и познакомим сегодня читателя “Русской речи”.

НОВЫЕ РУССКИЕ МЕТАФОРЫ

А.П. ЧУДИНОВ,
доктор филологических наук

I. Дом

Дом – один из важнейших культурных концептов в человеческом сознании. Метафорическое представление общественных реалий и процессов как *дома* (в том числе его строительства, ремонта и разрушения) – один из наиболее традиционных для политической речи образов. Так, Н.Д. Арутюнова отмечает: “Со времен Маркса стало принято представлять себе общество как некоторое здание, строение. Эта метафора позволяет выделить в обществе базис (фундамент), различные структуры (инфраструктуры, надстройки), несущие опоры, блоки, иерархические лестницы” (Теория метафоры. М., 1990. С. 14–15).

Понятийная сфера “Дом” обладает всеми необходимыми условиями для метафорической экспансии.

Во-первых, эта сфера хорошо знакома каждому человеку, она детально структурирована, все ее фреймы обладают высоким ассоциативным потенциалом и находятся в кругу естественных, “извечных” интересов человека.

Во-вторых, это сфера с высоким эмоциональным потенциалом: *отчий дом, родительский дом, собственный дом, домочадцы, семейный очаг, семейный быт, обустройство дома* и даже *домашние животные* – все эти образы способны пробуждать добрые чувства.

В-третьих, понятие “Дом” обладает очень развернутой сетью элементов внутренней организации: для русского сознания дом – это и здание, и жилье для отдельной семьи, и семья как таковая, и множество периферийных компонентов, обычно отражаемых словарями как оттенки значений.

В-четвертых, дом – это основная, наиболее естественная и комфортная сфера существования человека и его семьи. Человек уходит на работу или в гости, но вечером спешит в *свой дом*. По собственной воле или вынуждаемый обстоятельствами он уезжает в чужие края, но мечтает вернуться *домой*. И вполне естественно, что родной город и даже родная страна могут восприниматься как пространство *вокруг родного дома*.

Рассмотрим особенности структурирования исходной понятийной области для концептуальной метафоры “Дом” в политической сфере.

1. “Конструкция дома”.

Изначальные составляющие здания – фундамент, фасад, стены, крыша, двери, окна, крыльцо и некоторые другие компоненты, функции которых переосмысляются в политической метафоре, формируя важные номинации. Так, фундамент – это необходимая основа, крыша и стены – это граница с внешним миром и одновременно защита от непогоды или нежелательного вторжения. Крыльцо и дверь обеспечивают возможность выхода и входа; вместе с тем дверь – это защита от нежелательных гостей. Окно обеспечивает внешние связи, визуальную доступность окружающей территории (это “глаз дома”), форточка (и окно в целом) предназначена для притока свежего воздуха; вместе с тем окно и форточка могут быть местом “несанкционированного” проникновения в дом. Прочность современному многоэтажному зданию придают несущие конструкции и межэтажные перекрытия. Все эти представления последовательно отражаются в политической метафоре:

“Фундамент общества – возрождение крестьянства” (А. Руцкой); «ОРТ и так не хватает ярких ведущих, а тут на время праздников выпали “несущие” *элементы конструкции* – леонтьевское “Однако” и программа Любимова» (А. Архангельский); “Веками Россия была *стеной* для Запада. Минкин вычищает до блеска правительственный *фасад* демократов” (В. Жириновский); “К экономическому краху и обнищанию мы пришли из-за раскрытых настежь границ. Разве можно говорить о порядке в доме, если нет в доме *дверей* и *замков*?” (В. Жириновский).

В риторике использование подобных образов называется обращением к повседневному опыту слушателей: данный аргумент производит впечатление убедительности, соответствия изображаемой картины очевидным правилам мироустройства.

Внутреннее устройство дома предполагает выделение функционально специализированных помещений: для жилища – это кухня, столовая, спальня, кабинет и т.п., для офисных зданий – кабинет, приемная, зал заседаний, кулуары. В доме обычно есть коридоры и лестницы. Большинство домов в России – многоквартирные. Городской дом обычно состоит из нескольких этажей. Многие из этих элементов могут метафорически использоваться в политической речи: “Отношения сверхдержав зафиксированы в довольно узком *коридоре* возможностей, и без ядерной войны из этого коридора не выйти” (М. Соколов); “Коррупция так пронизала все исполнительные структуры, что стоит потянуть веревочку – и рухнут все *верхние этажи* президентской власти” (Газета “День”); “Глядишь, и скромная тетенька с милой улыбкой бочком-бочком – и протиснется в *коридоры* власти” (Н. Алексеева).

С советских времен в сознании наших граждан важное место занимает образ коммунальной квартиры, и особенно коммунальной кух-

ни. Этот образ оказался удивительно подходящим для метафорического обозначения всевозможных конфликтов:

«И у Косово, и у Чечни есть сходство с коммунальной квартирой. К жарким баталиям на коммунальной кухне нам не привыкать – хоть со сковородками, хоть с минометами. А что способно решить квартирную проблему? Только расселение. Иначе “соседи” все равно будут лупить сковородками друг друга или “разводящих»» (Б. Мурадов); “Мир маленький, и в этом сообществе квартир мы должны жить в мире и не гадить друг другу в кастрюли” (К. Боровой); «Даже “Известия” выразили недоумение кухонно-коммунальными методами воздействия на депутатов» (Ю. Нерсесов).

Концепт “Коммунальная квартира (коммунальная кухня)” – едва ли не единственный в рассматриваемом понятийном поле элемент с ярко выраженной негативной эмоциональной оценкой.

В бытовой речи богато представлено образное использование наименований мебели. В политической речи этот метафорический ряд небогат и ориентирован преимущественно на внутреннее убранство офисных помещений: очень часто используется “кресло” как символ власти и материальных благ, обычно в ироничном контексте: “Что выкинет новый президент, какие высокопоставленные начальственные сидалища соскользнут со своих кресел” (И. Стрелков); “Роман Абрамович намерен бороться за кресло губернатора Чукотки” (Т. Нетреба).

2. “Строительство, ремонт и разрушение дома”.

Строительство (а сначала проектирование) дома обычно метафорически обозначает создание каких-то политических структур, развитие общества и страны в целом; нередко говорят также о строительстве “общеευропейского дома”, мирового правопорядка и даже счастья и согласия: “Строительство новой государственности – это наука” (В. Овчинников); “Строительство партии идет не сверху вниз, а снизу вверх” (С. Шойгу); “Пика своей активности кооперативно-партийное строительство достигло в 1985 году” (Ф. Катаев); “Я верю, что в России такое общество можно построить” (Н. Овчинников); “Я не заставлю вас строить ничего, кроме собственного счастья” (В. Жириновский).

При всем разнообразии представленных контекстов можно заметить, что идея строительства окрашена преимущественно позитивно: строительство – это обычно надежда на лучшее будущее.

Рачительный хозяин постоянно стремится сделать свой дом комфортабельнее. С этой точки зрения легко объяснима ключевая политическая метафора эпохи М.С. Горбачева – *перестройка*. В ельцинский период эта метафора по отношению к недавнему прошлому использовалась преимущественно иронически. При характеристике новейших процессов предпочитали другие образы: “НДР требуется капитальный ремонт, точнее, реконструкция: от правящей когда-то

партии после утраты крыши остался только финансовый фундамент да несущие конструкции аппарата” (Е. Бокрина); “Нам нужна не еще одна *подпорка* для скомпрометировавшего себя режима, а народная конституция” (В. Салов); “Партии власти уже не поможет *косметический ремонт*” (Л. Горбунов).

В политической речи активно используется и образ разрушения дома: так обычно метафорически представляются разнообразны действия, направленные на резкое изменение прежней социальной системы, на отказ от традиционных ценностей: “Экономическая амнистия? Это просто нелепость. На гнилом фундаменте *рухнет* наше государство” (А. Солженицын); “Страшновато все-таки родиться в Союзе, выжить в Союзе... и умереть на его *обломках*” (С. Ваганов); “Мы имеем дело с изощренным популистом (о Б.Н. Ельцине), способным наводить глянец даже на *развалины*” (Т. Плетнева); “Если вместо дома будут узкие клетки – страна будет *разваливаться*” (В. Жириновский).

Отметим, что с середины 80-х годов с темой “строительство” так же, как и с образом “перестройка и ремонт”, чаще всего связаны положительные эмоции.

3. “Строители, жильцы и владельцы дома”.

Для человеческого сознания очень значимо противопоставление дома “своего” и “чужого”. В советскую эпоху “свой” дом – это место проживания, но не обязательно объект владения. С изменением социальной системы все большее значение приобретает вопрос о владении домом. Понятие “жильцы” метафорически обозначает граждан страны и ее отдельных регионов. Люди, проживающие в доме, могут быть его хозяевами или квартирантами.

В начале постсоветской эпохи представители самых различных политических партий, говоря о строительстве государства, предполагали, что дом будет общим, подчеркивалась необходимость совместных усилий различных политических сил, что подразумевало одинаковый статус “жильцов” (то есть народов, партий, отдельных граждан). Признавалась лишь возможность проживания в “отдельных квартирах”, то есть относительная автономия: “Государство – *это единый дом с общими стенами и крышей*. В нем необходимо соблюдать единые правила” (В. Алексеев); “Жесткая вертикаль власти не позволит растаскивать федеральную ответственность по *региональным квартирам*” (В. Бошков).

Традиционно метафора дома связана с позитивными прагматическими смыслами: дом – это укрытие от жизненных невзгод, семейный очаг, символ фундаментальных нравственных ценностей; соответственно строительство – это динамика, планы на будущее, стремление сделать жизнь лучше. Однако в современном российском политическом дискурсе любые метафорические модели могут разворачиваться таким образом, что акцентируются векторы тревожности, конфликтности, агрессивности.



*О пометах с семантикой времени
в толковых словарях*

*О. Н. ЕМЕЛЬЯНОВА,
кандидат филологических наук*

В данной статье рассматривается ряд вопросов, касающихся отображения толковыми словарями русского языка хронологического расслоения лексики с помощью системы соответствующих помет.

Нами были исследованы “Толковый словарь русского языка” под ред. Д.Н. Ушакова (ТСУ), “Словарь современного русского литературного языка” АН СССР (БАС), “Словарь русского языка” С.И. Ожегова (СО), “Словарь русского языка” АН СССР под ред. А.П. Евгеньевой (МАС), “Большой толковый словарь русского языка” под ред. С.А. Кузнецова (БТСРЯ), “Малый толковый словарь русского языка” В.В. Лопатина и Л.Е. Лопатиной (СЛ).

Данные словари отражают отечественную лексикографическую практику с 1935 по 1998 гг. Полагаем, что столь широкое сопоставление позволит вполне объективно представить интересующую нас проблему.

Прежде всего отметим, что не все перечисленные словари одинаково решают вопрос о стилистическом статусе помет с семантикой времени. Например, “Толковый словарь русского языка” под ред. Д.Н. Ушакова и “Словарь русского языка” С.И. Ожегова не относят эти пометы к классу стилистических, а БАС, МАС и БТСРЯ, напротив, называют их средствами стилистической (МАС) или функционально-стилистической (БТСРЯ) характеристики слов.

Кроме того, разные словари по-разному определяют (называют) группы помет, используемых ими для характеристики лексики с “хронологической” точки зрения. В ТСУ и СО они (пометы) называются “устанавливающими историческую перспективу” (ТСУ), “указывающими историческую перспективу” (СО), т.е. одинаково. БАС не выделяет такие пометы в отдельную группу, но указывает на историческую ограниченность части лексики: “Если слово не имеет общелитературного употребления или если оно ограничено исторически, то оно сопровождается пометами: в *просторечии, областное, церковное, устарелое, новое...*”. МАС говорит о “пометах к словам, выходя-

щим из употребления в современном русском языке”. Так же характеризует данный вид помет СЛ (к “лексическим единицам, в современном языке выходящим из употребления”). Наконец, БТСРЯ определяет их как “пометы, характеризующие хронологическое расслоение лексики”.

Как видно, данные определения ставят рамки от довольно узких до очень широких.

Что касается “ассортимента” интересующих нас помет, то наиболее разветвленная система помет с семантикой времени представлена в “Толковом словаре русского языка” под ред. Д.Н. Ушакова. К пометам, “устанавливающим историческую перспективу в словах современного языка”, словарь относит такие, как: 1) (*нов.*), т.е. новое, означает, что слово или значение возникло в русском языке в эпохи мировой войны и революции (т.е. с 1914 г.); 2) (*церк.-книжн.*), т.е. церковно-книжное, означает, что слово является пережитком той эпохи, когда церковнославянская стихия преобладала в русском литературном языке. *Примеч.* Эту помету не надо смешивать с пометой (*церк.*), указывающей на употребление слова в специальном церковном быту верующих; 3) (*старин.*), т.е. старинное, указывает, что слово является пережитком отдаленных эпох русского языка, но употребляется иногда авторами с какой-нибудь нарочитой стилистической целью; 4) (*устар.*), т.е. устарелое, означает: вышедшее или выходящее из употребления, но еще широко известное. между прочим, по классическим литературным произведениям 19 века”.

Часть помет с семантикой времени словарем определяется иначе, как “пометы к словам, обозначающим предметы и понятия чуждого быта”. Это такие пометы, как: “1) (*истор.*), т.е. историческое, указывает, что слово обозначает предмет или понятие, относящееся к уже отошедшим в прошлое эпохам и употребляется только в применении к этим “историческим” предметам, явлениям и понятиям. Этой пометой, вместе с пометой (*нов.*), сопровождаются и те слова, которые создавались в эпохи мировой войны и революции, успели выйти из употребления, поскольку предметы и понятия, обозначаемые этими словами, отошли в историю, напр., *Вик, викжелать (нов. истор.)*; 2) (*дореволюц.*), т.е. дореволюционное, указывает, что слово обозначает предмет или понятие, вытесненные послереволюционным бытом, напр.: *полковник, прошение, прислуга* и т.п.”.

Отнесение данных помет не к разряду “устанавливающих историческую перспективу”, а к обозначениям “чуждого быта”, с нашей точки зрения, объясняется прежде всего причинами идеологического порядка.

БАС использует две пометы с семантикой времени: *устарелое* и *новое*. “Последняя помета дается при словах, происхождение и значение которых непосредственно связано с советской современностью (*колхоз, стахановец, комсомол*)”. Первая помета – *устарелое* – не комментируется.

В “Словаре русского языка” С.И. Ожегова также две пометы, “указывающие историческую перспективу”: “1) (*стар.*), т.е. старинное; указывает, что слово принадлежит к терминам старины, употребляющимся в нужных случаях в современном литературном языке; 2) (*устар.*), т.е. устарелое; указывает, что слово является архаизмом, т.е. вышедшим или выходящим из живого употребления, но еще хорошо известным в современном литературном языке, “а также по классическим литературным произведениям XIX века”.

МАС обходится одной пометой, характеризующей выходящие из употребления слова: “*Устар.*, т.е. устарелое слово или значение, указывает на то, что слово (или его значение) употребляется в современном языке крайне редко и воспринимается как архаизм, например: *благодарив*”. Здесь же в примечании содержится предостережение: “Следует отличать от устарелых слов, архаизмов языка те слова, которые обозначают понятия, предметы исторического прошлого, хотя и отжившие, но в силу важности своего значения в истории народа широко известные и сохранявшие как в исторической науке, так и в литературном языке свои названия (*дружина, двор, кабала* и т.п.)”.

“Большой толковый словарь русского языка” (БТСРЯ) пользуется двумя пометами, характеризующими хронологическое расслоение лексики, – *устарелое* и *историческое*: 1) *устар.* (устарелое) – для слов, вышедших из употребления и используемых как выразительное средство имитации речи прошедших эпох; 2) *Ист.* (историческое) – для слов, обозначающих реалии и понятия старины. *Примечание.* Наряду с пометами *Устар.*, *Ист.* применяются энциклопедические ремарки, уточняющие временную отнесенность данной реалии, понятия. Они входят составной частью в толкование: *В старину*: ... (для реалий, не имеющих точных временных рамок); *В Древней Руси*: (для реалий, характерных для России 11–16 вв.); *В СССР*: ... (для реалий, характерных для СССР 1922–1991 гг.).

И, наконец, “Малый толковый словарь русского языка” В.В. Лопатина и Л.Е. Лопатиной обходится одной пометой с семантикой времени: *Устар.* (устарелое) – лексические единицы, в современном языке выходящие из употребления.

Кроме этого в словарях используются ремарки “*в старину*”, “*в царской России*” и под., предворяющие толкование лексем.

Как видно, реестр помет, характеризующих хронологическое расслоение лексики (указывающих историческую перспективу; обозначающих слова, значения и оттенки значений, выходящие из употребления в современном русском языке) наиболее разнообразен, сложен и непоследователен (вплоть до включения церковно-книжной лексики) в “Толковом словаре русского языка” под ред. Д.Н. Ушакова и резко сокращен (до одной–двух помет) в других словарях. Наиболее распространенным вариантом является использование словарями

двух помет, одна из которых обозначает термины русской старины, пережитки отдаленных эпох (*стар.* или *ист.*), а другая указывает на выходящие или уже вышедшие из широкого употребления, но, как правило, широко известные слова, значения и оттенки значений (*устар.*). Это мы видим в таких словарях, как СО, МАС и БТСРЯ.

Лишь два словаря – ТСУ и БАС – включают в реестр помет с семантикой времени помету *нов.* (новое) для обозначения слов или значений, возникших в русском языке в эпохи мировой войны и революции (т.е. с 1914 г.), как в “Толковом словаре русского языка” под ред. Д.Н. Ушакова, или при словах, происхождение и значение которых непосредственно связано с советской современностью (*колхоз, стахановец, комсомол*), как в БАСе. Другие толковые словари отказались от выделения новых слов и значений, ограничив историческую перспективу (СО) и хронологическое расслоение лексики (БТСРЯ) обращением в прошедшее время.

Таким образом, характеристика лексики с точки зрения ее хронологического расслоения (или исторической перспективы) дается в толковых словарях следующими способами: 1) с помощью соответствующих помет (*нов., стар., ист., устар.*, и под.); 2) с помощью энциклопедических ремарок (“в старину”, “в царской России”, “в Древней Руси” и под.). Кроме того, иногда само толкование содержит указание на то, что данное слово является устарелым, историческим или старинным элементом лексической системы языка. Почему одни лексемы в словарях характеризуются как устарелые (исторические, старинные), а другие в тех же словарях не имеют соответствующих помет, хотя толкуются как исторические, старинные или устарелые слова, непонятно. Так, в МАСе слово *копи* представлено следующим образом: *копи* – “устарелое название каменноугольных и соляных рудников, а также открытых горных разработок”. Лексема не имеет пометы, указывающей на ее принадлежность к устарелым словам, хотя толкуется именно как устарелое слово, архаизм.

Другой особенностью отражения толковыми словарями хронологического расслоения лексики является несовпадение массивов слов, имеющих соответствующие пометы. Например, вышеназванная лексема *копи*, не имеющая в МАСе стилистических помет (в том числе и с семантикой времени), но толкуемая как устарелое слово, в СО и БТСРЯ имеет помету *устар.*, в ТСУ характеризуется как областное слово (с пометой *обл.*), а в БАСе не имеет помет и не содержит в толковании указаний на архаичность.

Приведем еще несколько случаев подобного несовпадения, отметив, что примеров тому множество и что связано это “не только с тем, что определенная часть слов и значений действительно успела архаизироваться. В выделении устарелой лексики существуют трудности теоретического порядка: не определены исторические границы, кото-

рые необходимо учитывать при отнесении слов к архаизмам. Нет четкости и в противоположной ситуации: (...) бывает весьма затруднительно определить, с какого момента следует отказаться от его (слова. – О.Е.) квалификации как архаизма” (Резниченко И.Л. *Стилистический узус русского языка и его отражение в лексикографии*. М., 1984).

К примеру, лексема *амуниция* в ТСУ и БТСРЯ дается без каких-либо помет, в БАСе имеет помету *военн.*, в СО и МАСе характеризуется как *устарелое*; лексема *диспутировать* в ТСО и СО имеет помету *книжн.*; в МАСе – *устар.*, а в БАСе и БТСРЯ помет не имеет; слово *диссидент* в значении “вероотступник” в ТСУ и БАСе подается как *историческое*, в СО – без помет, в МАСе – как *устарелое*, а в БТСРЯ – как *церковное*; лексема *духовность* отсутствует в БАСе и СО, в ТСУ дается как *книжное устарелое* слово, в МАСе имеет одну помету – *устар.*, в БТСРЯ – не имеет никаких помет. Повторим, что объем таких различий велик.

Нередко помета оказывается шире, чем указано в ее определении. Так, И.Л. Резниченко отмечает, что помета “устар.” в СО “при словах, связанных по значению с явлениями исторического характера (*бретер, гильдия* и т.п.), (...) выполняет семантическую функцию и является неоправданной. (...) Отсутствие в СО специальной пометы для историзмов (...) отражает, по-видимому, встречающийся в лексикологии взгляд, по которому не разграничиваются два таких различных пласта слов, как архаизмы и историзмы” (Резниченко И.Л. *Указ. соч.*).

Часто пометы с семантикой времени, особенно помета “устар.”, выражают идеологическую точку зрения на какое-либо явление, а не служат средством заявленной авторами словарей стилистической или функционально-стилистической характеристики слова. “В СО, например, это касается конфессиональной лексики, маркированной в ТСУ пометой (*церк.*): *богобоязненный, богохульствовать, за упокой* и др. Употребление такой лексики действительно изменилось, но в количественном аспекте: число верующих сократилось, устарела, так сказать, социальная роль церкви в связи с отделением ее от государства” (Там же). В ТСУ по идеологическим соображениям, как отмечалось, историческая (*истор.*) и дореволюционная (*дореволюц.*) лексика относится не к разряду отмеченной с точки зрения исторической перспективы (или хронологического расслоения), а к “обозначениям предметов и понятий чуждого быта” (ТСУ) и потому выделена в одну группу с лексикой, обозначающей только то, что относится к заграничной жизни (*загр.*).

В той или иной степени этот недостаток (идеологизированное отношение к обозначаемому словом явлению вместо предполагаемой функционально-стилистической характеристики самого слова) присущ всем толковым словарям.

Часто функционально-стилистическое содержание пометы (выявляемое при анализе отмеченного ею словарного состава) не совпадает

с ее определением, данным в словаре. Это относится, например, к помете *стар.* в Словаре С.И. Ожегова, которая, по определению, должна указывать, “что слово принадлежит к терминам русской старины, употребляющимся в нужных случаях в современном литературном языке”, а на самом деле “далеко не всегда несущие ее слова являются терминами русской старины” (Резниченко И.Л. Указ. соч.). Это же можно сказать с большим или меньшим основанием и о других пометах с семантикой времени.

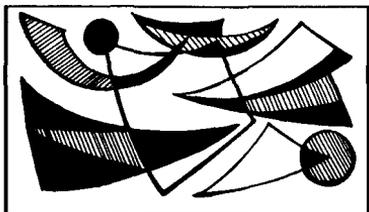
Не совпадает и реальное содержание помет, одинаково определяемых разными словарями. Например, “общие для ТСУ и СО пометы временного характера (*стар.*) и (*устар.*) оказываются в этих словарях не идентичными по содержанию, несмотря на сходство определений как той, так и другой пометы” (Там же).

Эти и другие несоответствия в лексикографическом описании словарного состава современного русского языка говорят о том, что “в выделении устарелой лексики существуют трудности теоретического порядка: не определены исторические границы, которые необходимо учитывать при отнесении слов к архаизмам” (Резниченко И.Л. Указ. соч.). Поэтому необходимо скорректировать реестр и содержание стилистических помет, указывающих на временную (историческую) перспективу. При этом нельзя подменять стилистическую функцию пометы семантической, т.е. относить ее “не к слову или значению, а к обозначаемой реалии” (Там же), когда лексикографическая трактовка слов (например, конфессиональной лексики) дается с идеологических, а не с собственно стилистических позиций. Следует решить вопрос и о том, на какие слои носителей языка необходимо ориентироваться при определении степени архаичности той или иной лексемы.

Нельзя пройти и мимо факта неразличения некоторыми лингвистами лексики активного/пассивного употребления и лексики неустаревшей/устаревшей (когда слово из пассивного лексического состава вновь входит в оборот, бывает весьма затруднительно определить, с какого момента следует отказаться от его квалификации как архаизма).

Без проявления внимания к этим и другим подобным замечаниям невозможно решить важнейшую задачу лексикографического описания языка – соответствия его реальному, живому употреблению.

Красноярск



ЧТО НЕСЕТ С СОБОЙ ЖАРГОН

М. В. КОЛТУНОВА,
кандидат филологических наук

Среди различных видов жаргона наиболее распространен так называемый молодежный жаргон (школьный, студенческий и т.п.). Он включает огромное количество англицизмов и англоязычных образований: *шусы* – ботинки, *хайр* – волосы, прическа, *маг* – магнитофон, *комп* – компьютер, *баксы* – доллары, *кэш* – наличные деньги и т.п. Калькированные жаргонизмы (*засветиться* – to flash, *зацепить*, *закадрить*, *склеить* – to hook up и т.д.) активно проникают в речь молодых людей, сочетаясь с общелитературной лексикой в новом, сленговом значении: *приколоть* кого-нибудь – разыграть; *достать* кого-либо – надоест; *гнуть*, *парить*, *дудеть*, *лечить* (уши) – обманывать, рассказывать небылицы; *слинять* – быстро убраться; *оттянуться*, *отпариться*, *встрять* – повеселиться, хорошо провести время; *возникать*, *взбухать* – выражать неудовольствие; *облом* – сорванное веселье, удовольствие; *корки* (*коры*) – шутка, смешная ситуация; *вилы* – тупиковая ситуация; *тормозить*, *не догонять* – не понимать и т.д.

Тем самым создается особая языковая среда, характеризующаяся игрой лексических значений, что не может не привлекать молодых людей. С другой стороны, ограниченность набора жаргонизмов создает лексический монотон, приводит к обедненности индивидуальной речи.

Наряду с лексическими изменениями язык молодежной “контркультуры” включает в себя и грамматические изменения: “– Я *такая* говорю, а он *типа* не слышит...”. Десемантизируясь, знаменательные слова либо начинают выполнять функцию артикля (*такая*), либо обозначают речевую ситуацию (*типа* – “делает вид, что не слышит”).

Границы распространения молодежного сленга расширяются благодаря средствам массовой информации (молодежные программы на радио и ТВ, реклама, адресованная молодежной аудитории и т.п.). На сленге пишутся песни, рекламные слоганы, что определяет степень его воздействия на речевое сознание:

А внизу лежал город, доставший своими огнями,
Поглотивший тебя совершенно одну.
Твой брат-алкоголик стрельнул у меня на похмелье.

(Я подобно собаке. Стриж & С^о).

На двоих один паспорт для развода ментов.
Плейер марки “Романтик” и кассета “Битлов”.

(На двоих. Стриж & С^о)

Я умираю от скуки, когда меня кто-то лечит.

(Весь этот бред. Сплин)

Зависалово, колеса, марки, чеки, трава, дурь, торчать, колбасить и другие характерные жаргонные обозначения реалий жизни наркоманов прочно вошли в поэтику современного русского рока: “И каждый вечер – *зависалово*, И беспрерывно – *с планом косяки*” (В старинном городе. Стриж & С^о)

Формирование речевого сознания преимущественно в среде молодежной контркультуры, минимизация контактов с иными типами речевого сознания приводят к печальным последствиям – к затрудненности использования нормативной речи.

Так называемый “общий” жаргон, который ассимилирует жаргон мелких торговцев, отчасти уголовное арго, профессиональные жаргоны (в частности, жаргон музыкантов и шоуменов), активно взаимодействует с молодежным сленгом: *кинуть* – обмануть, подвести; *отстегнуть* – дать взятку; *крыша* – прикрытие в силовых структурах или во властных органах; *слить деньги* – обменять или избавиться от крупных сумм; *откат* – неофициальные комиссионные за сделку; *бабы, бабки, лаве* – деньги; *тусня, тусовка* – компания, сборище, гулянка; *беспредел* – произвол, беззаконие; *раскрутка* – рекламное продвижение; *хит* – очень популярная песня; *драйв* – высшая степень удовольствия; *попса* – популярная музыка; *металл* – металлический рок и т.п.

Жаргонизмы превращаются в модные словечки в речи журналистов, политиков, околобогемной публики. Они звучат везде. Сегодня жаргонное слово чувствует себя свободно там, где, казалось бы, ему не должно быть места – в парламентской речи, в выступлениях государственных чиновников всех уровней, в официальном общении работников правоохранительных органов: “Опять коммунисты на нас *наезжают*. Им только бы *засветиться*” (А. Митрофанов, депутат ГД); “Будет у крестьян техника, будут и *бабки*” (А. Титов, губернатор Самарской области). Жаргонизированная речь льется нескончаемым потоком на всех каналах телевидения, причем тон в этом отношении, как это ни печально, задает ОРТ: “Их место у *параши*”; “Непонятно,

кто кого *кинул*: государство министерство или министерство государство”; “Они считают, что их *разводят*” (М. Леонтьев); “Сегодня принято *мочить* через крышу” (А. Невзоров).

Мнение о том, что высокий уровень криминализации общества отражается в речи журналистов, не выдерживает критики. Что же тогда журналисты должны противопоставить разгулу криминала, как не разъяснение своей позиции в сложившейся ситуации? Но ведь сделать это, используя уголовный жаргон, невозможно. Получается объяснение криминальной ситуации “по понятиям зоны”. Слово “авторитет” со значением “руководитель преступной группировки” сегодня используется в репортажах без закавычивания и без семантических замен. Спрашивается, чью систему ценностей отражает такой репортаж?

Проникновение жаргонных слов и выражений во все сферы общественной жизни создает уникальный прецедент формирования речевого сознания под мощным давлением жаргона во всех его разновидностях. Жаргонизированный тип речевой культуры является сегодня одним из самых влиятельных и экспансивных. Такие тенденции в динамике взаимовлияния и взаимодействия типов речевых культур приводят к следующим последствиям: жаргонизмы перестают осознаваться как таковые. В сознании говорящих они как бы лишаются стилистической окраски, и “тусня”, “крыша”, “наехать” воспринимаются как “обычные” слова. Один журналист(!) на вопрос иностранного коллеги о том, что такое “крыша”, не мог толково ответить.

Самое негативное влияние жаргона сказывается на формирующемся речевом сознании. Стилиевая дезориентация ведет к речевой некомпетентности и речевому бессилию (неумение точно и свободно формулировать мысль, высказывать мнение). Это происходит в том числе и в результате засорения речи, которое несет с собой жаргон: “Я хотел *типа слинять*...”; “Да мы *чисто посмотреть*...”.

Жаргон отсекает от речевого сознания огромные пласты литературной лексики, обедняет речь, тем самым препятствуя интеллектуальному и творческому развитию личности. Давление жаргона, в котором “смысл виляет между словами”, на речевое сознание определяет отношение к классической литературе, науке. “Жаргон убивает мысль, отучает думать его рьяных поклонников”, – пишет в своей книге “Экология слова, или Поговорим о культуре русской речи” (М., 1996) известный ученый, активный борец за чистоту русской речи Л.И. Скворцов.

Самара

Язык прессы



В какие игры мы играем

Н. И. КЛУШИНА,

кандидат филологических наук

Многие современные журналисты воспринимают свободу слова как вседозволенность в речевом самовыражении, забывая, что есть еще и другая свобода – свобода (в терминах Канта) от неморальных побуждений (себялюбия, социально-престижных претензий), правда, такая свобода достигается гораздо большими усилиями личности и не имеет ничего общего с речевой разнузданностью современных журналистов.

Американские риторы достаточно давно предлагают вместо цензуры внешней опираться на цензуру внутреннюю, на выработанные обществом моральные запреты, которые журналист должен соблюдать осознанно и добровольно. Еще средневековый французский философ Пьер Абеляр утверждал, что любой человек по собственной воле может не только грешить, но и быть добродетельным. По его мнению, совесть – единственный закон, присущий всем людям и выступающий критерием нравственности (Словарь по этике/ Под ред. И.С. Кона. М., 1983). Так что, не цензура, не запреты, а этический принцип может и должен стать регулятором речевого поведения журналиста в демократическом обществе, т.е. свобода говорящего, как известно, должна заканчиваться там, где начинается свобода слушающего. Пока же наша пресса предоставляет массу примеров того, как “ради красного словца” журналисты демонстративно разрушают столетиями вырабатывавшиеся в обществе нравственные принципы.

Наиболее очевидны нарушения этических норм в языковой игре, ставшей излюбленным стилистическим приемом современных журналистов и рекламистов. Языковая игра высвобождает огромные экспрессивные возможности, заложенные в языке, и именно поэтому ее так охотно используют СМИ и реклама. Обыгрываются звучание и форма слова, наслаиваются смыслы, создаются каламбуры, окказионализмы (в том числе графические), контаминации и т.п. Цель языковой игры – привлечение внимания с помощью шутки, юмора, остроу- ты. Таким образом, языковая игра в современной лингвистике рас-

смачивается как форма комического (Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры. М., 1999).

Однако ведь не все явления человеческой жизни имеют комическую природу. Но неумение или нежелание журналистов “переключать коды” приводит к языковому цинизму: комическому обыгрыванию трагических событий, которое у психически здорового человека не способно вызывать смех. Еще не успели потушить пожар на Останкинской телебашне, как в газетах промелькнул каламбур “Останки башни”. Складывается впечатление, что журналисты живут в особом, созданном ими виртуальном мире, лишенном драматических сторон.

Грубая вульгаризация явлений, которые считаются заслуживающими глубокого уважения или даже преклонения, в лингвистике называется травестировкой (Санников В.З. Там же). Вышучивание чего-то доброго, близкого нам всегда вызывает протест. «Известен случай, когда петербуржцы, восхищавшиеся остроумием актера П.А. Каратыгина, осудили его за то, что он на похоронах брата, В.А. Каратыгина, сияясь протиснуться к гробу покойного, не утерпел и сказал каламбур: “Дайте мне, господа, добраться до братца!”» (Санников В.З. Там же).

Такое резкое нарушение этических границ языковой игры противоречит аристотелевскому принципу комического: “Смешное никому не причиняет страдания и ни для кого не пагубно” и, по меньшей мере, приводит к коммуникативной неудаче, так как нередко смешное при ближайшем рассмотрении оказывается несмешным, как в следующем случае. “Пьянству бой!” – стереотипный лозунг из недавнего советского прошлого, призывающий к борьбе с этим общественным пороком. В статье под таким же названием (“Вести”. СПб., 2001 г.) он обыгрывался с помощью перевода переносного значения этой фразы в буквальное: в материале рассказывалось об убийстве доведенным до отчаяния отцом своего сына-алкоголика. Отец тут же умер от инфаркта. Трагическое событие, поданное ёрнически, характеризует прежде всего личность автора корреспонденции: перед нами либо циник, отстраненно смешивающий трагическое и комическое, либо человек, не владеющий стилистическими регистрами языка и не умеющий переключать стилистические коды. Аналогичный случай – заголовок “Улицы подбитых фонарей” в статье, рассказывающей о травмах глаз.

Иногда языковая игра построена на намеренной двусмысленности. Причем «само слово “двусмысленность” обозначает не сочетание двух смыслов, а сочетание двух смыслов, один из которых считается неприличным. Так, рекламный слоган, построенный на каламбуре “Смени пол!” (ср. с другой рекламой паркета: “За прекрасный пол!”) реабилитирует с помощью языковой шутки запретные смыслы» (Санников В.З. Там же). “Половая” тема стала ведущей в языковой игре. Двусмысленность и травестировка, пронизывающие современные журналистские и рекламные тексты, закладывают в сознание

читателя несерьезное отношение к серьезным вещам, провоцируют неадекватную реакцию на изложенную информацию, разрушают этическое и моральное поле складывающегося веками российского менталитета.

В языковую игру активно вовлекается и жаргон. Например, извлечение из правил проведения чемпионатов мира по шахматам в “Комсомольской правде” (2001. 24 нояб.) получило заголовок «Новый чемпион мира “позеленеет” на “пол-лимона”». Игра построена на омонимии нейтральных и жаргонных слов “зеленый” и “лимон”. Согласно теории Сепира-Уорфа, язык оказывает сильнейшее влияние на сознание. И именно язык современных СМИ “организует” сознание читателей. Жаргонизации сознания активно способствуют подобные рекламные каламбуры: «Мебельный магазин “Мебельград”. Обставим всех!», «Казино “Шангри-ла” вас зовет: здесь свежая зелень круглый год!». По мнению М.А. Грачева, “вместе с уголовной лексикой в наше сознание передается и уголовная мораль”, потому что «аргоизмы, которые подменяют “законопослушные” слова, заставляют молодого человека мыслить преступными категориями» (Грачев М.А. В погоне за эффектом (Блатные слова на газетной полосе) // Русская речь. 2001. № 5. С. 71).

Стремление к сенсационности в подаче материала отразилось и во многих заголовках, построенных на парадоксе. Парадокс (от греч. *Paradoxos* – неожиданный, странный) – это изречение или суждение, резко расходящееся с общепринятым, традиционным мнением или (иногда только внешне) здравым смыслом. Парадокс нередко облекается в остроумную форму и становится разновидностью остроути, т.е. обретает свойства комического (Литературный энциклопедический словарь. М., 1987. С. 267). Парадокс должен обладать чертами оригинальности, дерзости и остроумия. Он относится не только к области лингвистики, но и философии, т.к. отражает противоречивую сущность бытия.

Но в современных СМИ парадоксы, к сожалению, не содержат загадок, которые хочется понять, разгадать. Они отучивают думать, уводят читателя из сферы ментальности в сферу низменных интересов, нездоровых инстинктов, темных сторон быта. Например, статья в “Комсомольской правде” (от 24 ноября 2001 г.) о высокой моде в Москве вышла под заголовком “Шуба любит голую грудь”. Парадоксальный заголовок “Курникова проиграла мертвецу” расшифровывается так: рейтинг известной теннисистки оказался несколько ниже рейтинга погибшего боксера.

Итак, мы видим, что неглубокая языковая игра, для которой все средства хороши (и двусмысленность, и жаргон, и травестировка) может оказывать нежелательное воздействие на сознание читателей, способствовать привыканию к жаргону, неадекватному восприятию действительности. И только языковая этика журналистов в силах остановить это разрушительное воздействие (используя языковую игру, “положить предел беспределу”).



**Кирияк
Андреевич
Кондратович
(1703–1788)**

Русская филология XVIII века составляет потаенный пласт отечественной науки. И хотя принято считать, что основные направления в словесности, концепции и идеология сложились позднее, в XIX столетии, многое по крупицам было разбросано и, увы, безвозвратно утеряно в том далеком классическом веке. Но даже из фрагментарных трудов зачинателей русской науки, предшественников ее славных традиций, можно представить себе, насколько насыщенной идеями и проектами и одержимой была деятельность теперь почти неизвестных ученых-просветителей того времени, сколь широки и порой необъятны были их замыслы. Многие из них так и остались нереализованными и растворились в позднейших исследованиях, но за ними сто-

яла поистине титаническая работа первооткрывателей и собирателей русской старины.

В истории есть место крупным, великим именам прошлого, таким, как Ломоносов, Тредиаковский, Барсов и т.п., действительно осуществившим каждый по-своему переворот во многих отраслях знания. За их тенью остаются подчас незаметными люди, чье творчество на ниве экспериментальной словесности было, может быть, не так значимо и концептуально, не имело единой “стратегической” линии, – опять же то ли в силу черт характера и индивидуальных способностей, то ли по причине извечной “фортуны” и такого бытового “сюжета”, как отсутствие средств. Чего таить, многие ученые прошлого (среди них и немало филологов) – люди невысокого достатка – оканчивали свою жизнь в бедности, так и не сумев подняться на пьедестал почета и войти в когорту хрестоматийных имен.

Сказанное в полной мере можно отнести к забытому переводчику и стихотворцу, филологу и беллетристу, педагогу и придворному философу 1700-х годов Кирияку Андреевичу Кондратовичу, которого все же, несмотря на все противоречия и перипетии судьбы и пресловутый “оценочный” фактор, назвали “одним из трудолюбивейших переводчиков” своего времени (Семенов В.П. Материалы для истории русской литературы и для словаря писателей эпохи Екатерины II // Русский библиофил. 1914. № 6. С. 47). Именно на этом поприще он сыскал себе известность, сделав доступными для русского читателя научные труды европейских ученых и отдельные произведения античных авторов.

Но не только наукой ограничивались интересы и талант этого самобытного представителя Елизаветинской эпохи, имевшего весьма колоритную биографию.

К.А. Кондратович по рождению малорус. Мы должны признать, что всю жизнь он тяготился этим происхождением и приспособливался, испытывая на себе недоверие одних и презрение других. “Кондратович до старости сохранил свой малороссийский выговор и писал *пиль, витр* вм(есто) *пыль, ветр* (курсив наш. – О.Н.) и т.д. Этому единственному обстоятельству он приписывал нерасположение к себе русских <...>”. (Пекарский П. Кондратович, русский прозаик и стихотворец, филолог и беллетрист XVIII столетия // Современник. 1858. Т. 69. № 6. С. 455). Его отец служил сотником Слободского Ахтырского полка и погиб в Полтавском сражении. В зрелые годы в доношении в Канцелярию Академии Наук от 13 октября 1766 г. К.А. Кондратович так напишет о времени своего ученичества: “По смерти ж родителя моего по обучении моем российского языка и письма на 10-м году от рождения [опричь российского письма и кроме вокальной и инструментальной музыки] обучался я в Киевской академии латинскому и польскому языкам через 15 лет на своем коште и, начавши от грамма-

тики, окончил я на латинском языке поэзию, риторику и философические части: логику, физику, метафизику и богословие, которые учения, по именному указу государя императора Петра I велено зачитать за ранги, как и профессорам зачитается” (Тихонравов Н.С. Кирьяк Кондратович, переводчик прошлого столетия // Библиографические записки. 1858. Т. 1. № 8. Стлб. 227; фрагмент, заключенный нами в квадратные скобки, отсутствует у Н.С. Тихонравова, см.: Пекарский П. Указ. соч. С. 477). В начале своей просветительской деятельности он обучался в Киевской духовной академии и “окончил полный курс в 1730 г.” (Николаев С.И. Кондратович Кирьяк Андреевич // Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 2. СПб., 1999. С. 115). Но еще в 1727 г. его дядя архиепископ Рязанский и Муромский Гавриил Бужинский вызвал К.А. Кондратовича в Рязань для преподавания латинского языка в славяно-греко-латинской школе в Переяславе (1727–1728 гг.).

Заслуживает характеристики хотя бы в нескольких словах личность родственника будущего ученого. Гавриил Бужинский имел большую известность в начале XVIII века: он сочинял проповеди, прославлявшие победы и подвиги Петра I. “По этой причине, – замечает П. Пекарский, – все панегирики Бужинского печатались тотчас же по произнесении их – честь редкая в то время, потому что ее не удостоивался при жизни своей не менее известный проповедник – блюститель патриаршего престола Стефан Яворский” (Пекарский П. Указ. соч. С. 455). Затем, по окончании академического курса в 1731 году, К.А. Кондратович два года находился при дворе императрицы Анны Иоанновны в качестве “придворного философа”, как он сам себя именовал. По-видимому, ему наскучила такая работа, ибо имел он натуру свободолубивую, творческую, с большими амбициями. Посему, по отбытии этой “повинности”, “велено меня определить к делу, к чему удобен явлюся” (Пекарский П. Указ. соч. С. 477). И в 1733 г. он был направлен в ведомство Феофана Прокоповича, где занимался переводами богословских трудов. А в 1734 г. его командировали в Екатеринбург к В.Н. Татищеву, “по указанию которого делал переводы и обучал латинскому языку детей церковных и мастеровых” (Цит. по изд.: Черняев П.Н. Следы знакомства русского общества с древнеклассической литературой в век Екатерины II // Филологические записки. Вып. V–VI. Воронеж, 1904. С. 93). Здесь он пробыл девять лет, находясь на иждивении графа Строганова. Впоследствии он вспоминал это время как лучшее в своей жизни: “Я, нижайший питомец, только те времена за счастливые почитаю, в которые, по окончании богословии, по прошению бабки вашей и дядей и родителя вашего, во своем покое между прочими странными меня содержавшего в доме их, свободно, прохладно, совокупно и равномерно веселился” (Пекарский П. Указ. соч. С. 456).

Обладея разнообразными познаниями и интересом к изысканиям, К.А. Кондратович уже тогда пытался собрать и опубликовать некоторые свои работы. В Екатеринбурге, кроме преподавания, он помогал В.Н. Татищеву, работал над переводами исторических произведений западноевропейских авторов. Так, в 1735 г. он перевел труд польского историка XVI века М. Кромера “О начатии поляков и о делах, от оных соделанных”, в 1737 – “Историю о славянах” немецкого хрониста XII в. Гельмольда и другие сочинения. Есть свидетельство о том, что «во время занятий с учениками школы К(ондратович) сравнивал русскую Библию с латинским переводом древнееврейского оригинала и предложил исправления отдельных мест в книге Бытия, но Синод не принял его предложений, “понеже оное правление, яко с латинской, а не с греческой учиненное, недействительное есть”» (Там же. С. 116). Вообще этот период был чрезвычайно плодотворным и для филологических опытов К.А. Кондратовича. Сама среда, в которой он находился, довольно спокойная и обеспеченная (благодаря покровительству разных лиц) жизнь, интересные бытовые и этнографические наблюдения, пестрый язык народов, проживавших искони на Урале, – все это подвигло его к написанию диссертации “о сочиненном мною Етимологическом Лексиконе российском с латинским” (Книжка третья. Старик молодой. Сто епиграмм. СПб., 1769. С. 49) и составлению большого количества самых разных трудов – от “пиитических” до ботанических. В процитированном письме К.А. Кондратовича в Канцелярию АН (1766 г.) есть и такой фрагмент: “⟨...⟩ начал еще в Екатеринбурге российской этимологический лексикон с латинским переводом по Целлариеву и Фаброву образцу, по первообразным, производным и сложным именам, коих имен более ста тысяч находится, о чем я сочинил латинскую диссертацию ⟨...⟩” (Тихонравов Н.С. Указ. соч. Стлб. 228–229).

В это же время, по-видимому, находясь еще в Екатеринбурге, неутомимый К.А. Кондратович, кроме переводов многочисленных книг по истории, естественным наукам и занятий классической поэзией, собирал наречия и языки местных народов. Из его “дедикации” 1745 г., направленной в Синод, следует, что им были составлены и переведены более тридцати книг. Из них – “Дикционер татарско-польский”, “Дикционер вотячко-русский”, “Дикционер остячко-русский”, “Дикционер вагулицко-русский”, “Дикционер чувашско-русский”, “Дикционер черемиско-русский” (Пекарский П. Указ. соч. С. 473). Далее он замечает: “Все с краткими разговорами (у тайного советника Василья Никитича Татищева, которых у его академия, по моему доношению, требует)” (Там же).

Кроме перечисленных разговорников, К.А. Кондратович указывает также “Четыре тома русско-латинского лексикона (в академии)” и “Универсально латино-русского лексикона в лист 1064 страница (в

академии)” (Там же), библейские слобари: “Лексикон собственных имен библейных с толкованиями Пазоровыми (в академии)”, “Лексикон святых и разных мест нового завета греческим, сирским и еврейским с русским и с толкованиями Пазоровыми (в академии)” (Там же. С. 473–474). Его “реестр” завершается указанием на то, что “собрал все русские пословицы, к которым подвожу латинские точные” (С. 474).

В этом перечне есть свидетельства и о двух других словарях, о которых расскажем подробнее. Так, К.А. Кондратович пишет, что подготовил материалы для “Лексикона русского, собираемого в академии литеры В: к 3000 еще 3000 вокабул и к 150 пословицам 500 пословиц, все надлежит к литере В. К тому же ботанических имен на В латинских с русскими – 74, библейных 200, к чему из Калпиновой ономастики переведены три литеры W, V и B”, а также “собрал я ботанические имена латинские с русскими, которые еще у себя содержу и рассматриваю” (с. 474).

Судьба толкового словаря, пожалуй, самого ценного для истории отечественного языкознания (это едва ли не первое свидетельство о составлении именно *русского* лексикона), оказалась печальной и, наверное, повергла ученого в череду срывов, столкновений и неудач, которые ожидали его по прибытии в столицу.

В 1742 г. К.А. Кондратович приехал в С.-Петербург, где в 1743 г. назначается переводчиком при Академии наук, а позднее – учителем при академической гимназии, занимая чин коллежского асессора.

При всем критическом отношении современников к К.А. Кондратовичу и почти полной безвестности потом именно его деятельность как лексикографа заслуживает изучения и особого внимания. В.П. Семенников, один из первых биографов ученого, писал об этом феномене в начале XX века и, как нам кажется, объективно оценил старания ученого на данном поприще: “Долгие годы Кондратович трудился над составлением российского словаря. Труд этот остался ненапечатанным, но и в рукописи он сослужил свою службу: Российская Академия, при составлении своего словаря, пользовалась трудом Кондратовича; словарь его был распределен по частям между членами” (Семенников В.П. Указ. соч. С. 47). Далее тот же автор в примечании поясняет: «Составление словарей было страстью Кондратовича; он даже имел желание получить в Академии наук место профессора “к собиранию лексиконов латино-российского и российско-латинского языков»» (Там же).

В бумагах М.В. Ломоносова сохранились проекты будущих трудов. В одном из них – “Филологические исследования и показания, к дополнению грамматики подлежащие” – среди прочих важных пунктов есть и такой: “11. О лексиконе” (Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. Т. 7. М.-Л., 1952. С. 763). Редакторы и комментаторы издания выяснили, что речь шла как раз о готовившемся “лексиконе русских примитивов”. Свое участие в его составлении заявлял и М.В. Ломоносов – это видно из рапорта К.А. Кондратовича от 1 сентября

1747 г. (СПб. Ф Архива РАН. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. № 110. Л. 2. Цит. по изд.: Ломоносов М.В. ПСС. Т. 7. С. 946–947). «Был ли составлен такой проект, – пишут далее комментаторы, – неизвестно, однако же документально установлено, что Ломоносов в течение трех лет (1748–1751) принимал участие в работе упомянутого К.А. Кондратовича над “сочинением российского лексикона”. Это был многоязычный словарь “по Целлариеву и Фаброву образу”» (Там же. С. 947).

М.В. Ломоносов отрицательно отзывался о словаре К.А. Кондратовича. Он указал на следующие погрешности: «1) недостаточное количество производных и в особенности “сложенных” слов; 2) неправильное расположение производных слов “не под их своими первообразными” и (...) 3) “нарочитое число весьма новых и неупотребительных производных же слов”» (Ломоносов М.В. ПСС. Т. 9. М.-Л., 1955. С. 616; цит. по изд.: Макеева В.Н. М.В. Ломоносов – составитель, редактор и рецензент лексикографических работ // Вопросы языкознания 1961. № 5. С. 110). По возвращении рукописи К.А. Кондратовичу “Канцелярия Академии наук поручила Ломоносову осуществлять руководство данной работой” (Макеева В.Н. Указ. соч. С. 110) и в “репорте” 1749 г. он сообщал: «В сочинении “Российского лексикона” при вспоможении г. Кондратовича дошел до письмени П с производными без сложенными. А в наступающую треть (...) простирается стану в сочинении “Российского лексикона” с помянутым Кондратовичем» (Ломоносов М.В. ПСС. Т. 9. С. 381).

По мнению В.Н. Макеевой, обстоятельно исследовавшей этот вопрос, под наблюдением М.В. Ломоносова К.А. Кондратович «занимался дополнительным подбором “первообразных” слов для лексикона, а также “производных и сложенных”, после чего предполагалось “прикладывать” иностранные слова» (Макеева В.Н. Указ. соч. С. 110). Повидимому, сотрудничество с М.В. Ломоносовым “под присмотром” не было плодотворным. Он был не только очень требователен к себе, но и к своим коллегам. Поэтому его замечания, “направленные на улучшение лексикона, Кондратович воспринимал с болезненной обидчивостью и неоднократно жаловался на Ломоносова” (Там же). Вот одно из доношений К.А. Кондратовича в Канцелярию Академии наук (июнь 1750 г.): “Понеже я с господином химии профессором Михайлом Ломоносовым имею партикулярную ссору, а именно: что он меня в доме архиерея московского как при нем, так и при архиерее володимерском, и при архимандрите воскресенском трожды дураком называл, и проводившего его к квартире не только матерно бранил всякими непотребными словами, и называл каналиею, но и бить хотел; того ради по правам под его присмотром мне быть не подлежит, и чтоб мне повелено было быть под присмотром всего исторического собрания для скорейшего окончания лексикона” (Биларский П.С. Материалы для биографии Ломоносова. СПб., 1865. С. 771).

Их совместная работа завершилась разрывом в 1751 г., и тогда же К.А. Кондратович “дважды ⟨...⟩ сходил с ума” (Черняев П.Н. Указ. соч. С. 93). Он просил “не поручать более рассмотрение его трудов Ломоносову” (Николаев С.И. Указ. соч. С. 117). Много позднее в доношении в Канцелярию Академии наук 1766 г. К.А. Кондратович припомнил этот эпизод, сохранив весьма непривлекательную черту для биографии русского гения: “Ломоносов хотел меня заколоть и бранил в присутствии ⟨...⟩” (Пекарский П. Указ. соч. С. 478).

Так или иначе, вероятно, с большими перерывами, но работа над русским вариантом лексикона “Целяриев образцов” продолжалась и к 1772 г. была завершена. Словарь уже рекомендовали к печати: “Сочиненного ассессором Кириаком Кондратовичем и выправляемого г. академиком [С.Я.] Румовским российского Этимологического словаря с латинским переводом, приобща к тому и немецкий перевод регистратора Коха, напечатать под смотрением его, г. Румовского, в четвертую долю листа тысяча восемьсот экземпляров” (Семенников В.П. Указ. соч. С. 47). Однако издание так и не состоялось, а рукопись этого весьма значительного по объему лексикона была утеряна, или, точнее, растворилась во множестве статей готовившегося “Словаря Академии Российской”.

Сохранилось любопытное свидетельство Шлецера о труде К.А. Кондратовича: “Эта рукопись, – писал он, – in-folio, по точному счету, заключала в себе 781 лист или 34 алфавита, была *настоящий русский* (курсив наш. – О.Н.) Cellarius, в котором все слова были поставлены под своими, конечно, часто очень неправильными корнями, с латинским значением; он был чрезвычайно полон даже в отношении к естественно-историческим и другим техническим выражениям” (Семенников В.П. Указ. соч. С. 47).

Сейчас трудно сказать, что именно послужило остановкой издания этого словаря – старая ли “репутация кляузника” К.А. Кондратовича, академические интриги или же снова печальные обстоятельства, сопутствовавшие работам ученого на протяжении всей жизни. Не обошлось, наверное, и без того, что изменились приоритеты лексикографической работы теперь уже нового времени, и на смену разрозненным, во многом подражательным первым образцам европейских лексиконов выходили действительно монументальные работы. Одна из них – создание научно обоснованного, с соблюдением четких (на тот период) критериев отбора лексики толкового словаря русского языка новой, Екатерининской, эпохи. Этому отчасти были подчинены имевшиеся в “закромах” Академии богатые накопления прежней работы ее членов, в том числе и труды К.А. Кондратовича. Ее новый президент Е.Р. Дашкова собирала для таких целей рукописные лексиконы и “толкователи”, которые, по ее свидетельству, были розданы по частям авторам-составителям “Словаря Академии Российской”.

Не исключено, что в их число вошел и неизданный словарь К.А. Кондратовича.

Прежде чем мы перейдем к рассмотрению других трудов ученого, приведем еще одну деталь, возможно, проливающую свет на судьбу русского Целлария. В это же время готовился еще один словарь, над которым трудился А.И. Богданов, умерший вскоре после М.В. Ломоносова. Наблюдение за работой по его составлению и переводу осуществлял унтер-библиотекарь И.И. Тауберт, который “предпринял попытку напечатать словарь под *своим* (курсив наш. – О.Н.) именем” (Макеева В.Н. Указ. соч. С. 112). Сравним это с показаниями В.П. Семенникова: “Почти в то же время на российском, немецком и латинском языках был сочинен другой лексикон – под смотрением Тауберта (т.е. словарь Богданова. – О.Н.) (...). Вероятно, на некоторое время, до выяснения качеств труда Тауберта печатание лексикона Кондратовича было остановлено” (Семенников В.П. Указ. соч. С. 48). Далее он приводит следующую резолюцию по этому вопросу из журналов Академической Комиссии 1773 г.: “Прежденазначенный к печатанию российской с латинским и немецким переводом лексикон, который сочиняем был при Академии под смотрением покойного статского советника Тауберта, поелику в нем недостает еще собрания слов на некоторые целые буквы, оставить до времени, а вместо оногo продолжать печатание Этимологического Кондратовичева лексикона под смотрением г. академика Котельникова, который согласился принять на себя сей труд таким же порядком, как оный начат был г. академиком Румовским” (Там же).

Оценивая вклад первопроходцев русской лексикографии XVIII века, труды которых так и остались неизданными и были частично или полностью утрачены как авторские произведения, современные исследователи обоснованно говорят о степени их сопричастности великим открытиям и научным подвигам преемников: «Огромный лексический материал, сосредоточенный в словарях полузабытого русского лексикографа Кондратовича и зачинателя русской лексикографии Богданова, был успешно использован Российской Академией, явившейся прямой наследницей рукописного словарного богатства Академии наук. При составлении первоосновы “Словаря Академии Российской” – известной “Аналогической росписи слов” (или, иначе, “Аналогических таблиц”) – рукописные словари сыграли исключительно большую роль» (Макеева В.Н. Указ. соч. С. 112).

Примечательно, что академик В.В. Виноградов, не упустивший из виду, кажется, ни одного значительного лексикографического труда и посвятивший их анализу объемную статью, не обошел стороной и деятельность К.А. Кондратовича в этой области: «В сотрудничестве с Кондратовичем Ломоносов, по поручению Академии наук, занимался “сочинением Российского лексикона”, в котором “производные слова

стоят под первообразными”. Стало быть, – заключает он, – общий тип словопроизводного словаря, в котором лексический материал расположен не по алфавиту слов, а по алфавиту корней, по гнездам, объединяющим слова одного корня, – этот тип был выработан еще задолго до “Словаря Академии Российской”» (Виноградов В.В. Толковые словари русского языка // Виноградов В.В. Избранные труды. Лексикология и лексикография. М., 1977. С. 215).

Несмотря на обширные планы, Кондратовичу удалось опубликовать только два лексикона, которые, бесспорно, имеют определенное значение как первые опыты по отбору, нормированию и толкованию слов. Эти памятники были созданы на заре лексикографической практики и показывают кроме прочего те ошибки и поиски, через которые проходили ученые мужи века Просвещения. Первый из них назывался “Польский общий словарь и библейный, с польскою, латинскою и российскою новоисправленною библиями смечиван; и по порядку книг, глав и стихов тройственным штилем высоким, средним и простонародным на российский язык переведен коллежским асессором Кирияком Кондратовичем” (СПб., 1775). Причем автор не был просто схоластом-переводчиком, а старательно подбирал синонимы к польским словам, например: Powiadam, говорю, сказываю, глаголю, sl. Поведаю (С. 139), Powiát, епархія, дистрик, провинція, область sl. (Там же), Ukraina, порубежность, пограничье, сопредельность sl. (С. 201). Часто слова в синонимических рядах принадлежат разным стилям речи: Zwłaczam, проволакиваю дело, отсрочиваю, завтраками кормлю, в долгий ящикъ кладу (С. 252). По подсчетам Е.Э. Биржаковой список слов с пометой “sl.” (т.е. лат. *slavicum* – “славянское”) включает 378 слов в русском переводе (Биржакова Е.Э. Отражение функционально-стилистической дифференциации русской лексики в двуязычных словарях XVIII в. (Польско-русский словарь К. Кондратовича) // Функциональные и социальные разновидности русского литературного языка XVIII в.: Сборник научных трудов. Л., 1984. С. 136).

Причем К.А. Кондратович в ряде случаев не дает ссылки на отношение слова к высокому стилю, например: Pálec, палец, перст (Польский общий словарь... С. 118). Другим характерным признаком словаря является наличие авторских неологизмов, возникающих при переводе польской лексики. Происходило это, по-видимому, потому, что К.А. Кондратович не находил русских эквивалентов. Его словообразовательные модели, необычные и вычурные, все же замечательны как элемент “индивидуального сознания” лексикографа, пытающегося разъяснить отдельные нюансы языка. Приведем примеры таких слов: Kołysárz, колыбельнокачатель (С. 48), Kózúchem odziány, в шубу одет, пріошубился (С. 52), Lektýka, одноколка, человеконосилки (С. 62), Lunátyk, miesięcznik, на нов месяц беснующийся, сонночеход

(С. 66), Ostátków zbieranie w winnice, последовинособирание (С. 116), Ропóспу, ночеход, ночеброд (С. 134), Ропóгу, понурый, свиногляд (Там же), Powrozobiegún, веревкоход (С. 139) и др.

В некоторых случаях автор давал краткую энциклопедическую справку (“пт.” – птица), хотя почти всегда уходил от описательности, ограничиваясь одним или несколькими словами-синонимами. Кроме уже отмеченной пометы “sl.”, он использует и “pleb.” (лат. *plebejum* – “народное, простонародное”).

В словаре К.А. Кондратовича встречаются и отдельные географические наименования. Вот подобная статья “Море”: Mórze, море, saogrodzkie, константинопольское, пропонтида, eiásne, фосфор, czarne, черное, евксинское, czerwóne, чермное, Europióyskie, средиземное, Адриатическое, Tatarskie, гнилое, lodowáte, ледовитое, mártwe, мертвое, szwieckie, Балтýйское, wiéłkie, океан (С. 74).

Завершая этот труд, автор добавляет: “Сей Польский словарь, переведенный как на русский, так и на славянский язык мною на первый раз; после при всей своей полноте будет издан от меня со всеми европейскими и двумя азиатскими, т.е. еврейским и греческим, языками, да еще так, что при конце, по алфавиту реестры всех языков положены будут с ссылками на страницы, можно будет со всех оных языков на все ж языки совершенно переводить” (С. 254). Однако второго издания не последовало.

Глубокое исследование проведено А.А. Обремской-Яблоньской. Она проанализировала возможные источники словаря К.А. Кондратовича. В их числе и рукописные польско-латинские “Синонима” XVII века (Обремская-Яблоньская А.А. Об источниках польско-русского словаря Кирияка Кондратовича // Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы. Т. XIV. М.-Л., 1958. С. 599 и далее). А самым значительным новшеством, по ее мнению, “является введение Кондратовичем прилагательных” (С. 599). Интересно и другое признание ученого: она полагает, что “перевод польских слов формируется у Кондратовича *совершенно независимо* (курсив наш. – О.Н.). Для этих переводов наш лексикограф использовал свой собственный богатый материал, предназначенный для большого русского академического словаря” (С. 602).

В дополнение к польско-русскому словарю К.А. Кондратович приложил еще один лексикон, составивший окончание книги того же переплета (С. 255–292): “Польский библейный словарь самых странных имен, великороссиянам неудобноразумеваемый, смечиван с троими печатными библеи, с польского переведенного, с еврейского и с греческого языков; с латинскою Вульгатою, или Иеронимовою, и с российской новоисправленною, не по алфавиту, но по порядку книг, глав и стихов от начала ветхого закона до нового завета” (без повтора места и года издания). Как указано в длинном титуле издания, в него

включены слова, встречающиеся в библейских текстах и почему-либо устаревшие или не имеющие хождения в разговорном языке, а потому нуждающиеся в переводе. Автор их располагает “по порядку книг, глав и стихов”. Вот некоторые примеры из этой части словаря К.А. Кондратовича: *Dzién` odproczynienia*, суббота, покой, шабаш, отдохновение, *Sabbatum, dies sabbati*, 20.11. (С. 257), *Namiot*, куца, полатка, шатер, тентикъ, 33.8. (С. 258); – из Бытия, первой книги Священного Писания; *Kónik*, коньок полевой, *Attácus, ibid.* [11.22.] (С. 259) – из книги Левит, и т.д.

Другим, не менее ценным опубликованным лексикографическим трудом К.А. Кондратовича стал “Дикционер или речениар, по алфавиту российских слов, о разных произращениях, то есть о древах, травах, цветах, семенах огородных и полевых, кореньях и о прочих былиях и минералах, собранный и сочиненный Императорской Академии Наук коллежским асессором К. Кондратовичем” (СПб., 1780). И здесь автор не отходит от традиции своего “жанра”, открывая лексикон посвященным “превосходительному господину статскому действительному советнику Прокопию Акинфиевичу Демидову” (в подлиннике все слова напечатаны с прописной буквы). Ученый так объясняет причину, побудившую его взяться за этот труд: “{...} кроме обращения в Химию и старанию о переводах химических книг, на кои немало от вас кошту вашего положено, потом вы обратили охоту свою к Ботанике; и сия причина подала мне случай приписать Вам сей Ботанический Дикционер” (С. IV; нумерация римскими цифрами наша, в книге отсутствует).

Здесь же К.А. Кондратович рассказывает о печальном эпизоде, произошедшем с ним по возвращении из Екатеринбурга в Москву, и между тем отмечает: “{...} после потопших моих пожитков {...} я имел первое в Вашем доме убежище и пристанище” (С. VI). Далее он говорит и о структуре своего словаря: “Сверх того в сем Дикционере, за второю линиею, после российских и латинских речений положил я то по-российски, дабы россияне, не учившиеся латинскому языку, могли читать по-латини на природном своем языке и доставать произращения от иностранных земель, не имеющихися в России” (С. VI–VII). По сути дела, это переводной русско-латинский травник, какие в небольшом количестве сохранились в рукописях от прежних веков. Но ученого интересует не только название и толкование слова, но и его правильное (с точки зрения автора) произношение. Оттого латинские параллели читаются и по-русски. Вот некоторые примеры:

Интересно и то, что К.А. Кондратович часто дает не одно название, например, растения, а обозначает его разновидности, притом не только и даже не столько “ботанические”. Так, у слова “яблоко” мы обнаружили 12 отдельных статей: «1. Яблоко. 2. Яблоко райское или Адамово: плод от дерев. 3. Яблоко заморское плод. 4. Яблоко золотое. 5. Яблоко пинговое. 6. Яблоко гранатное. 7. Яблоко лесное. 8. Яб-

локо сладкое. 9. Яблоко скороряжущее. 10. Яблоко земное. 11. Яблоко любовное. 12. Яблоко жидовское или жидовские вишни. (Далее без номера. – *О.Н.*). Яблоки земляные, или свиной хлеб, и картофели" (С. 144). К слову "ягода" отнесены 23 статьи и затем в дополнение еще 17, и т.д.

Первоначально у К.А. Кондратовича был другой, более значительный замысел, который не осуществился. Еще в 1730-е гг. он подготовил материалы "в десяти стопах пищей бумаги состоящего, трижды выправленного разными троими профессорами и трижды от всей конференции профессорской аprobante для ботанического лексикона" (цит. по изд.: Липшиц С.Ю. Русские ботаники (ботаники России – СССР). Биографо-библиографический словарь. Т. IV. М., 1952. С. 315). Он был переведен спустя 50 лет после его составления на латинский язык и опубликован отдельной книгой в виде извлечения под названием "Дикционер или речениар...". Таким образом, К.А. Кондратович внес определенный вклад и в естественную историю, а его имя в связи с этим вошло в современные ботанические словари.

Кроме занятий научной работой и классической поэзией (подробнее об этом см.: Егунов А.Н. Гомер в русских переводах XVIII–XIX веков. М., 2001. С. 40 и далее), он прославился как автор и переводчик эпиграмм. Незамысловатые по сути (в том числе отрывки из произведений античных писателей, "переложенных" К.А. Кондратовичем на русский язык), они имели успех у современников. Были изданы три таких сборника под названием "Старик молодой" (СПб., 1769). Первой книжке предпослан еще и следующий подзаголовок: "Доброхотному и недоброхотному читателю". В нем автор, в частности, разъяснял и свои взгляды на этот вид словесного искусства и его роль: "Разделение разные питических частей каждому учившемуся известно, из коих эпиграмматическая есть легче протчих остроу в краткости заключающая" (С. 1).

К.А. Кондратович не без основания отмечает, что "у нас в России (...) почти все по природе стихотворцы, хотя не питы" (Там же. С. 3). Рассказывая о принципах своей работы, он сообщает здесь же и некоторые биографические данные: "Я отчасти многим, особливо ж Марциялу подражавший (...), выбрал себе сию легкую часть поэзии, обучавшийся оной еще в 1718 году, назад тому 50 лет, дабы ослабевшие семидесятилетние силы мои поднять оную могли (...) собранные здесь оборки из разных авторов не для того я здесь предлагаю, чтоб прослыть российским Марциялом, но только чтоб подать повод желающим достичь к превосходному степени совершенносочиняемых российских эпиграмм" (Там же). Он пишет и о том, что "в готовности имеются две тысячи с лишним эпиграмм одних, кроме од, элегий, сатьер, спитафиев, епитафамиев, склогов, диалогов, ентузиазмов, арий, песен..." (Там же. С. 6).

О характере и содержании эпиграмм можно судить по их заголовкам. Вот некоторые из них: “О неравенстве ума и силы”, “Без денег не лечатся”, “Вредная шутка”, “Любовь к родителям” и т.д. В ряде случаев авторство не указано (большая же их часть представляет собой переводы античных авторов), что позволяет нам судить о творческой индивидуальности “питана” Кондратовича, которому, очевидно, можно приписать и такую любопытную, на наш взгляд, “лингвистическую” эпиграмму из первого сборника под номером 40 – “Любовные падежи”:

No. Лукерия одна в уме Филиппу шевелится,
Ge. Лукерии и имя на языке той вертится,
Da. Лукерии одной Филипп радеет услужить;
Ac. Лукерию одну Филипп зовет везде пред нами,
Vo. Лукерия! мой свет! прииди! Кричит пред господами.
Abl. С Лукерией Филипп всегда везде желает жить;
В печали ль, в радости ль Филипп Лукерью возглашает,
А без Лукерии Филипп, как рыба, нем бывает (С. 22)

[Все же эта часть литературного таланта К.А. Кондратовича носила более “прикладной” характер. Кроме занимательности и нравоучений, выраженных в эпиграммах (некоторые из них были обращены к конкретным лицам), автор имел целью привлечь этим своих меценатов, снабжая краткими поэтическими отрывками, в том числе и научные труды. Эпиграммы – плод его “стихийной” натуры, желания самовыразиться, напомнить о себе. Их язык и стиль не отличаются стройностью, богатством форм и образностью, какой обладали его более маститые современники. Они сложены и витиеваты даже для Екатерининской эпохи. Вероятно, так же воспринимали “пиитические” достоинства К.А. Кондратовича и позднее. Знаменитый богослов и ученый, митрополит Евгений (Болховитинов) справедливо писал: “Слог его отличался странностями в словах и словосочинении, вводившимися в русский язык с начала XVIII века” (Словарь русских светских писателей, соотечественников и чужестранцев, писавших в России, сочинение митрополита Евгения. Т. 1. М., 1845. С. 301).

К.А. Кондратович так и не смог выхлопотать себе полное жалование вместо унизительного “половинного” и долго не получал повышения по службе, несмотря на значительные и разнообразные труды и многолетнюю работу в Академии наук. Многие годы он оставался коллежским асессором, влача жалкое существование и заботясь прежде всего о своей многочисленной семье (у него было восемь детей). Лишь в конце жизни он получил чин надворного советника. К.А. Кондратович дожил до глубокой старости и умер 85-ти лет от роду, забытый многими, так и не найдя достойного покровителя у властей предрежущих. В одной из эпиграмм он предельно автобиографич-

но высказался о себе, как будто предчувствуя суровые испытания, посланные судьбой:

В бедности я прожил век, до седого веку,
Бедность не порок, порок бедность человеку.

(Старик молодой. Доброхотному и недоброхотному читателю. СПб., 1769. Кн. 1. С. 34).

Прошло время, и К.А. Кондратовича стали изредка вспоминать, делая порой несправедливые и излишне пристрастные замечания в его адрес. Известный языковед конца XIX – начала XX века С.К. Булич назвал Кондратовича “неутомимым, но бездарным лексикографом и переводчиком” (Булич С.К. Очерк истории языкознания в России. СПб., 1904. Т. 1. С. 422). Но были и другие, более объективные, в чем-то несколько завышенные оценки, которые все же реабилитируют Кирияка Андреевича. Митрополит Евгений (Болховитинов) в своем “Словаре” отозвался о нем следующим образом: “Он был из числа плодovitейших русских писателей и почитался между преобразователями нашей словесности” (Указ. соч. С. 299).

О. В. Никишин



С. И. ОЖЕГОВ. О критериях объективного определения омонимов

Публикуется впервые по автографу С.И. Ожегова (Архив РАН. Ф. 1516. Оп. 1. Ед. хр. № 87 [8 лл.]). Заметка написана простым карандашом на отдельных листках небольшого формата. Автограф датирован С.И. Ожеговым 14 декабря 1957 года. Рукопись не имеет авторского заглавия. Оно появилось при обработке фонда в Архиве РАН. Некоторые отрывки, не имеющие прямого отношения к проблеме, неполные записи и авторская нумерация не передаются и обозначены отточиями в угловых скобках.

Указанные черновые заметки были подготовлены автором к выступлению по проблеме словарной омонимии, которая была в центре внимания в 1940–1950-е годы и не раз вызывала дискуссионные статьи и обсуждения (см. например, статью В.И. Абаева “О подаче омонимов в словаре” // Вопросы языкознания. 1957. № 3 и дальнейшую дискуссию, материалы которой опубликованы в кн.: Лексикографический сборник. Вып. IV. М., 1960).

Во вступительной части С.И. Ожегов упоминает доклад Л.Л. Кутиной и имя В.В. Виноградова, которые, вероятно, присутствовали при обсуждении “Словаря русского языка”. А ранее, в 1940 году, В.В. Виноградов опубликовал программную статью (см.: “Русский язык в школе” № 1) “О грамматической омонимии в современном русском языке”, где указывал на недостатки толковых словарей русского языка, непоследовательно определявших границы лексической омонимии. Очевидно, что этот вопрос через некоторое время вновь оказался актуальным.

Все данные материалы не следует рассматривать как оформленные и научно обоснованные взгляды С.И. Ожегова. Но выдвинутые им положения, особенно в области исторической семантики, рассмотрение вопроса с разных позиций (широкая и узкая точка зрения) заставляют прислушаться к мнению и отдельным выводам ученого, тем

более, что они остались без должного внимания в современной научной и лексикографической практике.

В начальных строках заметки С.И. Ожегов поместил вопрос: “Почему лексикограф заинтересовался?”. А далее дает ответ: «Потому что сделана попытка осуществл(ения) в словаре “более широкого понимания омонимов” (...). И вопрос из узко теоретического, основанного на отдельных примерах, перешел в область конкретную – сем(антической) классификации всей массы лексики. Это не могло не углубить и теоретических мнений» (л. I).

* * *

(...) Прежде всего закономерно поставить вопрос, как совместить задачи лексикологии и лексикографии, имея в виду практич(еский) х(аракте)р последней (для нефилологов).

Там нужна справка. Ссылка на реаль(ое) языков(ое) сознание небудительна (ср.: *коса*).

Нужно ли в сл(оварях) отражать ом(онимы)?¹. Сторонники тради(ционной) т(очки) зр(ения) ссылаются, что широкое толк(ование) омонима лишает словарь познават(ельного) знач(ения). Но они учитывают только этимологич(ескую), историч(ескую) сторону познавательности.

На первый взгляд кажется, что явл(ение) омонимии носит сугубо теоретич(еский) х(арактер), напр(имер), по сравн(ению) с явл(ением) синонимии в языке. Говорящему как будто безразлично, что мы считаем омонимами, что нет. Значение так или иначе направлено на определ(енный) объект действительности. Другое дело синоним. Знание их позволяет говорящему избрать тот или иной лексич(еский) способ обозначения действительности. (...)

Широкая т(очка) зр(ения) видит познавательную ценность Словаря² в другом: а именно: показ современных³ омонимов вскрывает семантические функции слова в коммуникат(ивной) речи, ибо важно показать не только семант(ические) связи, но и семант(ические) обособления, ограниченность слов и былых значений одного слова (отсутствие изжитых сем(антических) ассоциаций)⁴.

Типы словарей

Если лексич(еская)⁵ омонимия – проблема лингвистическая в том смысле, что она есть результат внут(еннего) разв(ития) яз(ыка) – жизни языка? Если да, то вряд ли можно ограничиться признанием того, что омонимами являются только слова разного происхождения?

Это простая констатация наличия в яз(ыке) однозвучающих слов, вызв(анных) внешними обстоя(ельствами). Это историч(еская) случайность, результаты иных процессов, а не семант(ическая) жизнь языка.

Брак – (женитьба – супружество).

блок – рол, пол – мост.

Но обращ(ение) и к таким, как *брань, свет, мир* – указывает на какие-то внутр(енние) процессы в яз(ыке), ведущие к расщеплению. Да, такое расщепление, разъединение значений есть, это факт языка. Но как прийти к объективн(ому) поним(анию) омонима?

Единств(енный) путь – исторический. Омонимия – семант(ический) распад единого слова – обнаруживается как факт речевого общения пользующихся данной системой языка, т.е. явления омонимии для кажд(ой) эпохи определяются синхронно, при сопоставимости, при учете прежде возникших явлений.

Границы: яз(ык) дописьменный,

яз(ык) народности,

яз(ык) национальный,

совр(еменный) язык и его понятие (XIX–XX вв.) <...>

Вопрос об устарелости “живот – жизнь” <...>.

Система лит(ературного) яз(ыка) и его периферия (обл(астные) [слова], прост(оречие) – несовпадающие семант(ические) пути преобраз(ования) слов. В лит(ературный) яз(ык) входит готовое, приспособл(иваясь) к сем(антической) сист(еме) <...>, [например], в совр(еменной) блатн(ой) музыке, у стилиг.

Не буду останавливаться на принятой системе выделения омонимов в Инстр(укции). Она приемлема как база. После анализа мат(ериалов) моего словаря [она] освободилась от многих ошибок, непоследовательностей.

Но они так и останутся, напр(имер): субстантив(ированное) прилаг(ательное), лицо и предмет, префикс(альные) глаголы, нареч(ие) и предлог. Части речи, опосредств(ованно) обозн(ачающие) действ(ельность): нареч(ие) – кат(егория) сост(ояния), союз, частица⁶.

Взаимоотн(ошение) производных и производящих [основ]: острый – состричь.

Теоретическое наследие Ахмановой⁷ не внесло ясности.

Где же пути объективного опред(еления) омонимов?

Грамм(атические) данные – сопутствующие.

Основной критерий – семантический, но тут⁸ и обнаруживается широчайшая субъективность, более или менееправляемая языковым опытом, чутьем и т.п.

Объективное учение об омонимии м(ожет) б(ыть) построено на основе изучения типов семант(ического) развития слов с учетом истор(ического) своеобразия условий развития каждого⁹ литературного языка <...>

Типы метафор, метоним(ий) и проч(ие) расширения употр(ебления) слов в связи с особенностями грамм(атического) строения, синт(аксического) употр(ебления) и т.д.

Сем(антические) звенья, поддерж(ивающие) единство слова, типы знач(ений), связь к(ото) рых предопределена закономерностью: имя действия, результат, место, орудие (...).

Только наличие такого учения о сем(антическом) разв(итии) слов предохранит словари от грубых ошибок.

Примечания

¹ Предложение приписано над строкой.

² Имеется в виду "Словарь русского языка" С.И. Ожегова.

³ Слово приписано над строкой.

⁴ Фрагмент, заключенный в квадратные скобки, приписан над строкой.

⁵ Слово приписано над строкой.

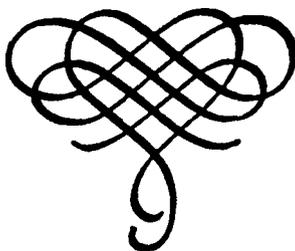
⁶ В этот абзац нами объединены отрывочные записи примеров, помещенные после текста. Слева С.И. Ожегов приписал: чайная, рабочий, проводник, истребитель.

⁷ Имеется в виду исследование О.С. Ахмановой "Очерки по общей и русской лексикологии" (М., 1957).

⁸ Далее одно слово зачеркнуто, запись неразборчива.

⁹ Слово приписано над строкой.

Вступление, публикация и примечания
О. В. Никитина





“ВОДКА ВИНУ ТЕТКА”

Г. В. СУДАКОВ,

доктор филологических наук

В эволюции русского стола есть такой исторически важный момент, как переход в XV–XVII веках от “питного” меда к водке. Почему это случилось, что заставило русских заменить сладкий мед горькой водкой, как повлияла эта история на изменение всей системы названий столовых напитков – об этом и пойдет речь в предлагаемых заметках. Но предварим, однако, рассмотрение этой проблемы изложением нескольких важных положений.

Система названий напитков до середины XX века, пока для изготовления напитков использовалось исключительно сырье естественного происхождения, решающим образом зависела от сырья, из которого напитки изготавливались.

Сырье для изготовления напитков связано с определенными территориями – климатическими зонами произрастания и производства исходных компонентов, поэтому у многих народов система названий напитков обязательно имеет национальный колорит. Любой этнический тип более приспособлен для жизни в той местности, где он сформировался и развивался: уклад жизни, материальная культура, местная пища и напитки – всё играет роль. Народ той или иной местности привычен к определенным типам напитков, а в некоторых случаях определенные типы напитков ему вообще противопоказаны. Так, у народов крайнего Севера в составе их национальной пищи никогда не было ни винограда, ни меда, ни зерна – тех веществ, из которых изготавливают алкогольные напитки. Вероятно, поэтому у северных народов нет иммунитета к алкоголю.

Решающее влияние на карту национальных напитков оказывает изменение технологии переработки первичного сырья.

Эти три составляющие: *сырье – климатическая зона – технология* – определяют и три главных семантических компонента в номенклатуре названий напитков, от этих признаков зависит строение корневых гнезд и система составных наименований. Именно эти три компонента являются и самыми древними в общем наборе семантических показателей, организующих лексику питья.

В IX–XIV веках на Руси различались в зависимости от исходного материала, технологии изготовления три типа напитков. Их отличало одно общее свойство: до XV века славяне, как балты и германцы, не готовили и не употребляли крепких напитков.

Прежде всего в традиции было виноградное *красное вино* – ритуальный напиток. Такое вино распространилось с принятием христианства, являлось символом христовой жертвы. Вслед за греками русские пили виноградное вино только пополам с водой, не крепче. Названия вина этого периода, кроме слов *вино, питье*, – преимущественно греческие заимствования, т.к. это было иноземное привозное вино. Именно поэтому номенклатура вин в древнерусском языке совершенно не развита. Позже, во времена Московской Руси XIV–XVII веков терминология вин несколько усложняется благодаря развитию торговых контактов с Западом: появились *фряжские вина* – это французские, итальянские и крымские; греческие вина – *мальвазия, бастр*; французские – *романья, мушкатель; ренское* – германское вино из мозельских виноградников.

Второй тип – напитки местного производства, получаемые в результате естественного сбраживания меда. *Мед* – название древнее, упоминается уже в Остромировом евангелии (XI в.). *Питный мед* – хмельной напиток, приготавливаемый из смеси меда диких пчел и ягодных соков и подвергаемый выдержке от 10 до 35 лет. До XVII века мед – главный национальный напиток Руси. Но и в XVII–XVIII веках он не был редкостью на русском столе.

Судя по регулярным заменам *медь – вино*, отмеченным еще А.Х. Востоковым в текстах XI века, мед издавна ценился как хмельной напиток: “В мед (вариант: *в вине*) не мужаися. мнози бо погубил мед”; “Не упиваитеся медом” (вариант: *вином*).

Фольклор и художественные тексты зафиксировали основные качества *питьевого меда* – сладость и крепость: “еще пьет черлено вино и меды сладкие и веселится” (Казанская история. М., 1954); “Просил царь Соломан испить меду пьяново, чтоб не страшна смерть была” (Памятники старинной русской литературы. СПб., 1860. Вып. 3).

В деловых текстах акцентируется внимание на технологии изготовления меда (*медку розсытить – меды сытить – меды посычены, меду поставлено*), причем часто в сопоставлении с приемами изготовления других популярных для того времени крепких напитков: “пивца сварити или медку розсытити”; “вина усижено и пива сварено и меду поставлено”.

Технология приготовления меда менялась (вначале – *медостав*, потом – *медоварение*), поскольку сокращались медовые запасы. Чем отличался *ставленный мед* от *вареного меда*? В том и другом случаях мед вначале *рассычивали* (разбавляли водой): норма рассычивания для медостава – 1:4, 1:6. При медостава рассыченный мед выпаривали: из шестнадцати килограммов пчелиного меда, получали четыре килограмма кислого меда. Выпаренный осадок заквашивали, затем кислый мед клали в котел с ягодами, этот настой бродил, его томили в печи, переливали в бочонки и ставили в погреб на выдержку.

Медоварение развилось позже медостава, в XIII–XIV веках, когда стала очевидной нехватка меда. При рассычивании норма воды была увеличена: 1:7, к меду стали добавлять патоку, состав обваривали кипятком (*обарный мед*), вкладывали дрожжи и старались, чтобы продукт брожения уходил в сам мед – отсюда “сногшибательная” сила меда при его незначительной (по нынешним меркам) крепости – до шестнадцати градусов. По традиции и новую технологию называли *мед ставити*, вот ее подробное описание в Домострое по списку XVII века: “С зелии мед ставити со всякими: с мушкатом и с корицею и с гвоздиком и с инбирем и с иными всякими зельи, положить меду кислова, которого ни буди, в малые бочечки да подкормити патокою, да те зелья истерти мелко да класти в мешечки портяные, да те мешечки с теми зельи положить в те малые бочки, и в мед на нитках повесити в воронки, а воронки закрывати накрепко, чтоб из бочек дух не выходил” (Чтения в об-ве истории и древностей российских. М., 1881. Кн. 2).

Смена технологии и разнообразие местных добавок к основному продукту существенно повлияли на развитие номенклатуры названий: нами учтено около семидесяти отдельных лексем и составных наименований. В русской номенклатуре названий медов обычно используются указания на девять признаков напитка: 1 – способ приготовления и дополнительная обработка (*мед вареный*); 2 – обозначение добавок (*мед малиновый*); 3 – продолжительность выдержки и одновременно градация по сортности (*мед легкий – мед средний – мед крепкий*); 4 – оценка общего качества (*мед добрый*); 5 – назначение (*мед столовый*); 6 – цвет (*мед белый, мед красный*); 7 – место изготовления (*мед немецкий*); 8 – время изготовления (*мед вешний*); 9 – посуда или место хранения (*мед ковшечный, мед амбарный*).

Сортов меда было великое множество. Так, иностранному послу в 1602 году было предложено “23 или 24 сорта меду попробовать, который ему больше понравится”. Способ приготовления и дополнительная обработка отразились в таком ряду названий: *ставленный, вареный – обьярный – обарной, сыченый, цеженный*: “меду цежена” (1284 г.); “мед обарной и паточной и цеженой” (1583 г.); “медов ставленных 20 ведр доброго, 150 ведр росхожего” (1676 г.); “у тебя меду сыченого мало” (Рязанская кормчая 1284 г. Сб. Отдела русского языка и словесности

РАН. 1899. Т. 65; Сб. Русского исторического общества. СПб., 1883. Т. 38; Русская историческая библиотека. СПб., 1907. Т. 21; Полн. собр. соч. русских летописей. Л., 1950. Т. 37).

Вторым по важности является обозначение добавок (ягод, фруктов, пряностей), на которых настаивали мед. Кстати, в этой группе представлен и весь спектр синтаксических моделей составных наименований: прилагательное + существительное; именительный падеж существительного + с + творительный падеж существительного, например, *ягодные меду*: “2 ковши меду паточнаго с гвосцы 2 ковши меду с мушкатом, 2 ковши меду с кардамоном” (Домострой; Сб. Отд. рус. яз. и сл. РАН. Т. 1. № 3; Забелин И. Домашний быль русских царей. М., 1915. Ч. 2).

Преобладали в ягодной России *ягодные меду*: *малиновый, черемховый, черничный, смородинный, черносмородинный, костяничный, можжевеловый, вишневы, терновы* – “подавал ему мед вишневои и малиновои в ковшех” (1517 г.); “две кружки меду черемхового” (1599 г.); “меду вишневого, малинового, смородинного по 2 кружки, костеничного, черемхового, можжевелового по кружке” (1664 г.; Памятники дипломатических отношений с Римской империею. СПб., 1851; Акты исторические. СПб., 1841; Дворцовые разряды. СПб., 1852). Из фруктовых меду был популярен *яблочный*, остальные фрукты не вызревали в суровой России.

Вероятно, третье место в медовой иерархии займут меду, поименованные с учетом продолжительности выдержки, влияющей и на градацию по сортности: “две бочки меду старого”; “А из сырцу доброго поставитъ приказных трех меду: лехково, середнево да крепково по 5 ведр” (1673 г.).

Оценка общего качества напитка выражалась словами *добры, простой, расхожий*: “медов ставленых 20 ведр доброго, 150 ведр расхожего” (1676 г.); “2 ведра простого меду” (1684 г.; Иосафовская летопись. М., 1957; Рус. ист. б-ка. Т. 1; Полн. собр. законов Российской империи. СПб., 1830. Т. 11).

Предназначенность меда тоже учитывалась в его наименовании, она зависела от вкусовых качеств и продолжительности выдержки: *княжой, боярской, приказной, рядовой, братский, столовой*. Например, боярский мед готовили из чистого меда, патоки не добавляли: “10 ведр меду княжого, 15 ведр меду боярского” (ок. 1560 г.); (Рус. ист. б-ка. Т. 10; Государственный архив Вологодской области).

Следующий мотивировочный признак – цвет: *белый, светлый – красный*. Красный мед был ценнее белого, отличался разнообразием добавок и более совершенной технологией изготовления. Белый-светлый мед противопоставлялся медам выкислым, т.е. всем ягодным и фруктовым медам, но он мог насыщаться пряностями: “Давати мед белой да пиво, красных меду не давати” (1584 г.); “Велел

г(о)с(у)д(а)рь подавати послу в ковшех в золотых мед вишневой и малиновой и белой” (1583 г.); “белые меды: паточный с гвоздцы, ковшичный с мушкатом, с кардамоном” (1667 г.; Пам. дипл. снош. Моск. госва; Забелин. Указ. соч.).

Столовый обычай старой Руси состоял в том, что гостям выставляли (посылали) сразу несколько разновидностей меда: “Послано дворяном полведра меду вишневого, полведра меду малинового, полведра меду боярского, полведра меду обарного, 5 ведр меду паточново, 10 ведр меду княжего” (1594 г.). В первую подачу в стол великому государю подавали три вида “медов красных: вишневой, малиновой, смородинный; 2 подача: малиновой боярский; 3 подача: можжевеловой, черемховой” (1667 г.; Забелин. Указ. соч.). В древности мед пили из кубков и рогов, а во времена Московской Руси – из кружек, ставиков, ковшей (белый мед – из белых ковшей, красный – из цветных) и стаканов: “Святейшему патриарху подносили в нарядных ковшах с жемчугом и камнем красной мед, в белых ковшах – белой мед” (1667 г.; Записки – Древнероссийская Вивлиофика. СПб., 1773. Ч. II. Июль).

Перейдем к рассмотрению третьего типа напитков, получаемых в результате искусственного сбраживания зерна после варки и добавления трав. Прежде всего это квас и пиво. Если мед был торжественно-праздничным напитком, его пили изолированно от приема пищи, то рядовыми столовыми напитками были квас и пиво.

Первоначально пиво готовили один раз в году к Новому году, а год начинался с первого марта. С первого затора (это смесь солода, хмеля и дрожжей) сусло получалось густое, а пиво – самое лучшее. Такое пиво называли *мартовское*. Последующие выгонки сусла были жиже и светлей – пиво хуже. Практика многолетнего приготовления пива показала необходимость сохранения строгой, неизменной технологии: река под названием “пиво” течет в очень узких технологических берегах, выход за пределы которой мгновенно превращает пиво в “непиво”. По этой причине номенклатура названий пива была менее развита, чем система названий меда: их ровно вдвое меньше.

Эксперименты с сбраживанием теста привели к открытию в середине XV века винокурения: изобрели ржаное вино и водку.

Слово *водка* (от “невинного” слова *вода*) в старорусском языке имело несколько значений, что объясняется качествами данной жидкости, главное из которых – большое содержание алкоголя (спиртуозность). Это позволяло использовать водку как техническую жидкость, например, в ювелирном деле: “Государева жалованья алхимисту и водочнику Вилиму Смиту за водки, что он перепускал водки к золотому делу” (1626 г.; Чтения в обществе истории и древностей российских. М., 1882. Кн. 3).

В водке легко растворялись (настаивались) пахучие вещества, поэтому *водкой* называли “духи, гигиенические жидкости”: “С аромат-

ными духи 4 сулейки вотки гуляфные, 4 сулейки вотки ароматные” (1661 г.; Армяно-русские отношения в XVII в. Ереван, 1953. Т. 1). *Гуляфная – голяфная* (или *свероборинная-свороборинная*) водка настаивалась на цветах шиповника.

Ароматные водки настаивались на естественном сырье, имеющем лечебные свойства, поэтому они могли служить и “лекарством”. В этом качестве водка – водки были рано и широко известны на Руси: “Вели, государь, мне дать для моей головной болезни из своей государьской аптеки водок: свороборинной, буквишной, кроловы, мятовые, финиколевой” (1630 г.); “Поп Григорей давал ему протопопу из своих рук из скляницы неведомо какое составное питье, а называл де он то питье водкою” (1684 г.; Акты историч. Т. III; Русская историч. б-ка. Т. 14).

Довольно рано русские стали использовать водку и как “хмельной напиток”: “Когда они веселятся, то пьют главным образом водку и медовый напиток” (Россия н. XVII в. Записки капитана Маржерета. М., 1982). Водки ароматизировали, старались придать какой-то цвет, такие технологии повторяли уже известную ранее практику приготовления питного меда: “Для тезоименитства ея государынина водок коричной, анисовой, приказной, гвоздичной, кардамонной, кишнецовою по четвертной склянице” (1700 г.; Забелин. Указ. соч.). Отсюда пошло выражение *зелено-вино* – это *зельено вино*, то есть “с зельем – хмелем, зверобоем и иными травами”.

Популярностью пользовались *анисовая, полыньковая-полынная водки*: “Велено им дать в Аптекарской приказ про государя в водку анисую сладкую шесть фунтов анису” (1631 г.); “водка полыньковая” (1699 г.; Акты историч. Т. 3.; Розыскные дела о Ф. Шакловитом. СПб., 1885. Т. II). Для государева стола Сытный приказ, который ведал кушаньями и напитками, заказывал водки в Аптекарском приказе: “Велети изсидети в Аптекарском приказе на государев обиход на Сытной дворец из четырех ведер из романей водка коричная” (1628 г.; Забелин. Указ. соч.). Как лекарственную, так и хмельную водку первоначально делали из виноградных вин путем перегонки – *сиденья*: “Дворцовому винокуру Осипу Федорову за работу что он сидел вотку...” (1699 г.; Расходная книга Патриаршего приказа кушаньям... СПб., 1890).

Водилась и привозная водка: немецкая, “фрянчюжская”, киевская: “Есть у тебя водочки добрые немецкие. Пожалуй, Костянтин Родионович, изволь тое водочки бочечку к нам прислать” (1663 г.; С.-Петербургское отд. Ин-та истории).

Растет крепость вина, появилось *горячее вино* – “обладающее способностью гореть” (ср. одновременно появившиеся украинская *горилка*, немецкое *Brandtwein*). В Новгородской летописи за 1548 год впервые упоминается *горькое вино* “водка с настоем полыни и древесных почек”. Сейчас выражение переосмыслено как “напиток, приносящий горькую жизнь, выпиваемый с горя”.

Для усиления крепости напиток нагревался и перегонялся дважды, трижды. Отсюда термины: *простое вино* или *полугар* (23 градуса), *двойное вино* (37–45), *тройное* (70, это классическая основа для разведения водой до состояния водки, но вначале из тройного вина за счет подслащивания и добавок делали бальзамы, русские ликеры и запеканки); *четверенное вино* (80 градусов, в XVIII веке из него делали настойки – ерофеичи или подслащенные тафии-ратафии).

С середины XVII века водка становится русским национальным напитком. Формируется обычай *угощенья-жалованья водкой, кушанья водки*: “Тебе б приятелю моему кушать из нея водочку на здоровья” (XVII в.; грамотка); “Жаловали бояр и окольных и думных и ближних людей кубками фряских питей, а стольников и генералов и стряпчих походных и полковников стрелецких и дьяков из приказов и гостей водкою” (1691 г.; Петровский сборник. СПб., 1872).

Из-за семантической загруженности слова *водка*, используемого часто в докторских рецептах, крепкий напиток на основе перегонки виноградных вин называют *горячее вино* или *двойное вино* (Курц Б.Г. Сочинение Кильбургера о русской торговле в царствование Алексея Михайловича. Киев, 1915). Чаще всего крепкий напиток по традиции называли *вином*, но добавляли определение-уточнитель: “Вина строят розличныя пряныя и нарядныя, тройныя и четверныя, строят для славы и чести, а не для себя” (Космография к. XVII в. – Зап. Моск. археолог. ин-та. 1911. Т. XI).

Некоторое время, преимущественно в севернорусских актах, хлебный крепкий напиток называли *арака*: “У перепуска смечать по скольку ис котла араки первой и другой” (Домострой); “То вино тот голова Прокопей Самойлов с товарищи пограбил и браги излил и араку к себе на поварню и запасы хлебные по имал” (1632 г.; Рус. ист. б-ка. Т. 25). Арака была известна русским первоначально как турецкий или якутский напиток, приготавливаемый из зерна.

Однако с водкой в силу ее большей крепости по сравнению с обычным вином все чаще отождествляется двойное вино. Так, на московской таможне в 1684 году при распросе торговец заявляет к перевозке “три боченка киевской водки ведр с девять”, а при сыске у него обнаружено “две бочки вина двойного мерою по три ведра” (Акты историч. Т. XI). Судя по показаниям словарей, и в XVIII веке названия крепкого хлебного напитка свободно заменяли друг друга: “Вино горячее, водка, горелка”; “Двойное вино – вотка”.

Официальное признание термина *водка* состоялось 8 июня 1751 года путем издания царицей Елизаветой Петровной указа “Кому дозволено иметь кубы для двоения водок”.

В XVIII веке перестали напиток рассычивать, т.е. добавлять раствор пчелиного меда, а больше стали заниматься ароматизацией за счет добавок пряностей и трав. Начали пробовать разные варианты

смешивания напитков: появилось *вино с махом* (2/3 простого вина и 1/3 двойного), но его делали без очистки, поэтому вскоре перевели в разряд технических смесей. А вот на основе разведения тройного вина водой до сорока градусов по предложению Д.И. Менделеева в 1894 году Россия запатентовала “Московскую особую”, прославившуюся на весь мир.

Дополним историю водки рассказом о горилке. Слово *горилка* в значении “крепкий напиток, водка” попало в русский из украинского. Украинская *горілка* отождествлялась с жженым вином: “указ о жженом вине, сиречь о горелке”. Первые партии горилки были привозными, поэтому в первых примерах употребления слова подчеркивался иноземный характер напитка и любовь к нему именно иноземцев: «Немчин Иван фон Любцов учил Говорить: “Есть де у вас горелка, станем де мы пить про оролевскую мамку здоровье»» (1631 г.; Зап. Моск. археолог. ин-та. Т. XIV). С середины XVII века *горелка* (ср.: не *горилка*) становится хорошо известным напитком в России, растет и ее крепость. Так, в 1664 году в связи с присылкой патриарху несвежей рыбы провинившиеся получили такую саркастическую грамоту от святейшего: “Буде толко сами такие ж едите и сами провоняете, чаят и в банях своих неделею не отмоете смраду того и яковитою горелкою вскоре не запьете” (Рус. историч. б-ка. Т. V).

Одновременно с эволюцией хмельных напитков развивались и представления о питейной посуде: норма потребления снижалась, но крепость напитка росла. Для древних русичей и четырнадцать градусов – крепко, для русского барина и ерофеич в семьдесят градусов – сладко, а пролетарская водка имела сорокаградусный стандарт. Итак, вод меры жидкостей для хмельного: московское ведро – 12 литров, четверть – четверть ведра, 3 литра; стопа – 10 чарок, полтора литра; водочная бутылъ – 0.61 литра (современная поллитровка появилась в конце 20-х годов XX века); ковш – 3 чарки, поллитра; чарка – 143.5 грамма (гениальное открытие древних русичей, поскольку позже было доказано, что медицинской нормой единовременного потребления водки являются 150 граммов, это знаменитые “наркомовские сто пятьдесят”, хорошо известные участникам Великой Отечественной войны).

Обратим внимание на распространенность слова *чарка*: *поднести чарку*, *выпил чарку*. Вообще фразеология русского застолья была связана не столько с названиями напитков, сколько с названиями питейной посуды: *Заздравная чаша*; *Выпей чарку*; *Поднесли ковши*; *Спасибо кувшину, что размыкал кручину*; *Одна рюмка на здоровье, другая на веселье, третья на вздор*; *Загорелась душа до винного ковши*. А вот как соблазняют молодца в “Горе-Злочастии”: “Испей чару зелена вина, запей ты чашею меду сладково”. *Здравица* – “заздравный тост” от русского выражения *заздравная* или *здоровная чаша*. Обы-

чай произносить здравицу появился очень давно, в Изборнике Святослава 1076 года читаем: “Чашу принося к устам, помяни звавшего на веселие”. С древности существовали правила поведения за столом. Часть из них записана прямо на ковше середины XVII века, хранящемся в Историческом музее в Москве: “Человече, буди при славе смирен, при печали мудр, не зван на пир – не ходи, аще пойдеши – в высоком месте не садись, да сзади всех опозоренный не будешь, не всякой ковш пей до дна, да не будешь без ума, а к чюжим женам в кут не ходи, с ними не беседуй, да не будеши бесчестен”.

Названия напитков в застольной фразеологии стали преобладать в новое время, с развитием в обществе тяги к спиртному, что добросовестно зафиксировал В.И. Даль: “Чай, кофей – не по нутру; была бы водка поутру” (заметим, что обычаем европейского трапезования не предполагает употребления крепких напитков ни утром, ни даже в обед, а только после пятнадцати часов); *Где вино, тут и праздничек, Водка вину тетка* (Даль В.И. Пословицы русского народа. М., 2000).

Процедура трапезы начиналась с закуски. Закуску называли еще иногда *завтраком*, он ведь тоже предшествовал обеду – главной трапезе. *Закуска* – легкое кушанье (икра, копченая рыба, сыр, соленое мясо, сухарики, печенье и напитки), цель закуски – не утоление голода, а возбуждение аппетита. *Закусочный стол* – русское изобретение, в 60-х годах XIX века он вошел в моду во Франции.

Русский закуской стол сложился тоже под влиянием всеильной с XVIII века водки именно как закуски к крепким напиткам. Он представляет собою три группы закусок: а – *мясные* (9 видов) – *свиное соленое сало, ветчина (окорок тамбовский), говяжий студень, холодец пороссячий-свиной, голова свиная холодная, язык свиной, или говяжий отварной, телятина холодная заливная, солонина отварная*; к этому набору обязательны *горчица и хрен*, совершенно непопулярные во времена питного меда; б – *рыбные* (24 вида) – *селетка с подсолнечным маслом и луком, икра черная паюсная (хуже – зернистая) лососевая, икра красная лососевая, икра розовая сига, балык осетровый холодного копчения* и т.д.; в – *овощные* (11 видов) – *огурцы соленые, капуста квашеная, капуста провансаль* и т.д.

В заключение одно замечание – в порядке предположения и намека на возможную перспективу исследования.

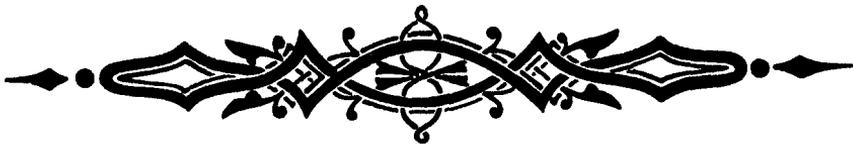
Номенклатура названий напитков в основе своей андрогенна по происхождению, т.е. ее сформировали мужчины: в качестве виноделов, медоваров и винокуров издревле выступали мужчины; женщин допускали к изготовлению пив, медов, тем более – водки лишь на отдельных, первоначальных стадиях изготовления сырья. Дело в том, что по мере изготовления напитка его полагалось пробовать на вкус, а женщине это не всегда показано. Эволюция названий хлебных напитков, например, преимущественно отражает три этапа развития

технологии. Так, бытовые названия XV–XVII веков по-мужски строги, точно отражают качества реалии, предельно информативны: *хлебное вино, вареное вино, перевар, куренное вино, горячее вино, корчма, русское вино, житное вино, горькое вино*.

В XVIII–XIX веках появляются эвфемизмы и жаргонные выражения, что отражает привыкание общества к крепким напиткам, переход от оценки питья крепких напитков как дела неприличного к квалификации как благопристойного занятия. Поэтому наряду с “технологичными” наименованиями (*самогон, перегар, сивуха – сивалдай* [серого, неочищенного цвета]) появляются и по-мужски грубовато-шутливые: *царская мадера, французская 14 класса* (намек на то, что пьет самый низший чин), *сильвупле, петровская водка, огонь да вода, хлебная слеза, дешевая, чем тебя я огорчила, крякун, клин в голову* (Даль. Указ. соч.). Тогда же появляется огромный ряд выражений, характеризующих состояния подпития: *под турахом; под куражем; подшофе; залить за галстук, за ворот, за ухо; убить муху; побороть медведя; зашибить дрозда; замочить губы (рыло, морду); смазать глотку, смочить горло, сполоснуть зубы; пустить в жилку; замочить усы в чарке; заморить червячка; через край хлебнул (хватил); насандалить нос; наклюкаться; нарезать; натянуться; насошаться; закатыть ухарскую и т.д.* Там же). Наконец, в XIX–XX веках преобладают технические термины: *рака, простое вино, полугар, пенное вино, двухпробное вино, трехпробное вино, четырехпробное вино, двойное вино, вино с махом, тройное вино*.

Вологда





ИМЕНОВАНИЯ ИЕРАРХОВ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ

Р. И. ГОРЮШИНА

В последние десятилетия лингвисты уделяют значительное внимание рассмотрению различных терминосистем. До настоящего времени преимущественно исследовались термины материальной культуры. Несмотря на существование значимой для человека духовной сферы, религиозная лексика изучена недостаточно. Семантика терминов религиозного содержания рассматривалась Ф.П. Сергеевым в работе “Формирование русской дипломатической терминологии (По данным памятников письменности XI–XVII веков)” – Львов, 1978.

В нашем исследовании речь пойдет о словах, обозначающих иерархию христианской Церкви, которая является основным принципом организации православного и католического духовенства и соподчинения духовных лиц, обладающих церковной властью.

Общее название для священнослужителей высшей степени христианской церковной иерархии – *иерарх* (греч.) “священнослужитель, имеющий епископский сан, верховный глава церкви в сане епископа” (Большой толковый словарь русского языка. Под ред. С.А. Кузнецова. СПб., 2000). Данное слово употребляется наряду с лексемами *архидиакон*, *архидьякон* (Markunas A., Uczitel T. Leksykon chrześcijaństwa. Poznań, 1999).

Основу католической церковной организации составляют три степени священства (*дьякон*, *священник*, *епископ*), которые считаются божественным установлением, и в свою очередь подразделяются на два ранга: высший, состоящий из тех, кто получает свою власть непосредственно от папы (*кардиналы*, *апостолические викарии*), и низший, состоящий из тех, чья власть исходит от епископа (*генеральные викарии*, представляющие епископа в выполнении его юрисдикции, и *синодики*, т.е. члены церковного трибунала, назначаемые епископом).

Папа (лат. *pāpa*) римский – титул главы католической Церкви, верховный правитель государства Ватикан. Полный титул папы: епископ Рима, наместник Иисуса Христа, преемник князя апостолов, верховный понтифик Вселенской Церкви, патриарх Запада, примас Италии,

архиепископ и митрополит Римской провинции, монарх государства-города Ватикан, раб рабов Божьих. Папа избирается конклавом кардиналов пожизненно. Согласно догмату католической церкви, принятому I Ватиканским собором в 1870 году, папа считается непогрешимым в делах веры и морали (Markunas A. и др. Указ. соч.).

Второй после папы титул в иерархии католической церкви принадлежит *кардиналу* (от лат. *cardinālis* – главный, основной), который назначается папой с согласия консистории – собрания кардинальской коллегии. Кардиналы составляют верховный совет папы, им принадлежит право избрания пап на общем собрании, называемом конклавом. У католиков звание старшего кардинала или епископа, возглавляющего коллегию, имеют *декань* (от лат. *decānus* – настоятель соборного капитула).

Если *викарий* (от лат. *vicārius* – помощник, наместник) Иисуса Христа у католиков римский папа, то апостольский викарий в католичестве – это представитель высшей духовной власти в местах, где нет епископа (Markunas A. и др. Указ. соч.). Общее название *викарий* встречается как в лексике католицизма, так и православия. В католической церкви *викарий* – помощник епископа или приходского священника, в православной церкви – *епископ*, являющийся заместителем или помощником архиерея, управляющего епархией.

Викарий во втором значении – священнослужитель высшей (третьей) степени христианской церковной иерархии, замещающий правящего архиерея, не могущего в силу каких-либо обстоятельств управлять возложенные на него обязанности по управлению епархией, или помогающий ему в этом на постоянной основе. В Русской православной церкви это наименование официально введено в 1708 году. Викарии осуществляют руководство религиозной жизнью в приходах, объединенных в *викариатство*, и в этом случае они подотчетны правящему епископу и совершают рукоположения в сан только с его ведома.

Что касается иерархии православной церкви как организационной формы, то существует порядок подчинения нижестоящих органов – священнослужителей и должностных лиц – вышестоящим по строго определенным степеням. Черное (монашеское) духовенство – это *патриарх*, *митрополит*, *архиепископ*, *епископ*, *архимандрит*, *иеродиакон* и др. Белое духовенство – *пресвитер*, *иерей*, *протоиерей*, *протопресвитер*, *диакон* и др. В названиях церковных чинов очень много заимствований из греческого языка. Это вполне понятно: структура православной церкви была заимствована у греков, и почти все церковные должности, особенно высшие, в первый период христианства на Руси исполнялись греками. Обозначения чинов – *патриарх*, *епископ*, *диакон*, *архидиакон*, *иерей* и др. – вошли в лексическую систему древнерусского языка из греческого через старославянский. Все они со-

храняли свою терминологическую однозначность и в течение многих эпох языкового развития не вышли из узкой сферы церковной речи.

Общее название для высших чинов из числа черного духовенства в православной церковной иерархии – *архиерей* (греч.) зафиксировано светскими толковыми словарями русского языка.

Главой поместной Автокефальной православной церкви в ряде стран является патриарх (греч.), наделенный также и высшим духовным саном. Как высший чин православной церкви был введен с 1589 года. Просуществовав до 1721 года, был заменен Синодом, но снова учрежден в 1917 году.

В Русской православной церкви патриарх избирается Поместным собором из епископов столичного города и, согласно ее уставу, управляет Церковью совместно со священным Синодом. Он имеет первенство чести перед епископами и подотчетен только Поместному и Архиерейскому соборам, является полномочным представителем Церкви перед государством. Сан патриарха – пожизненный. Официальное церковное обращение к Патриарху Московскому и всея Руси – *Ваше Святейшество*. В некоторых автокефальных Церквях принято обращение *Ваше Блаженство*, *Архисвяtitель* (Markunas A. и др. Указ. соч.).

В древних памятниках лексема *патриарх* употреблялась как наименование родоначальника рода, племени (в библейских текстах патриархами назывались 12 сыновей Иакова, родоначальников “колен” еврейского народа, один из них – Авраам) и как титул духовного лица, обладающего высшей церковной властью.

В светских толковых словарях *патриарх*: 1) глава, старейшина рода, родовой общины. 2) *Высок*. Старейший, наиболее почитаемый человек в каком-то коллективе людей. // Человек, который является старейшим и наиболее выдающимся в какой-либо области деятельности. 3) *Церк*. В православии: титул духовного лица, обладающего высшей церковной властью; лицо, носящее этот титул. // Епископ, возглавляющий поместную автокефальную церковь (Большой толковый словарь русского языка).

Митрополит (греч.) – духовный сан в православной и некоторых других церквях, “священнослужитель высшей (третьей) степени христианской церковной иерархии” (Markunas A. и др. Указ. соч.). В тех церквях, где установлено патриаршество, – второй после патриарха сан. Лексема *митрополит* зафиксирована светскими толковыми словарями и трактуется как “... титул некоторых епископов, управляющих особо древними или обширными епархиями; лицо, носящее этот титул” (Большой толковый словарь русского языка). *Митропольство* – сан или округ митрополита.

Одной из высших степеней в христианской церковной иерархии является также духовный сан, именуемый *архиепископом*. Это духовное

звание занимает промежуточное положение между епископом и митрополитом. Словом *архиепископ* (греч.) именуется епископ, надзирающий над несколькими епархиями, а также вообще почетный титул епископа.

Грецизм *епископ* – название высшего иерарха во многих христианских церквях (это высший духовный сан в православной, католической и англиканской церквях, кроме протестантской); священнослужитель (третьей) степени в церковной иерархии из черного (монашеского) духовенства, управляющий епархией. По древней традиции, в сан епископа посвящают архимандритов – священников, принявших монашеский чин. Светские толковые словари трактуют данное слово как “лицо высшего священнического сана из черного духовенства, управляющее епархией”.

“Библейская энциклопедия” из всех приведенных нами наименований высших должностных лиц в православии рассматривает только слово *епископ*: “Епископ – одна из необходимых степеней священства, первая и высшая, так как епископ не только совершает таинства, но и имеет власть и другим чрез рукоположение преподавать благодатный дар свершать оныя” (Библейская энциклопедия. Труд и издание Архимандрита Никифора. М., 1891).

В отличие от католиков и православных, у протестантов титул епископа не является пожизненным, его присвоение есть не таинство священства, а назначение им или избрание на должность. В настоящее время данная лексема употребляется как в богослужебной сфере, так и в светской.

Грецизм *архимандрит* (от греч. – *ограда* означает *старший над оградой*, то есть монастырем) обозначает высшее духовное звание у монахов православной церкви, почетный титул настоятелей крупных мужских монастырей, заместителей лавры, а также почетное звание ректоров духовных семинарий, глав духовных миссий. В светских толковых словарях это слово толкуется как “высшее звание монашеского духовенства, предшествующее епископу”.

На степень ниже от черного (монашеского) духовенства находится *белое духовенство*: *священник* (*пресвитер*, *иерей*), *протоиерей*, *протопресвитер*, *дьякон*.

Словом *священник* (греч.) называют православного священнослужителя, допущенного к самостоятельному ведению богослужения, совершающего все таинства (обряды), кроме священства. Синонимами данной лексемы являются *пресвитер* (греч.): 1) в православной и католической Церквях – священник; в православии – лицо средней (второй) степени церковной иерархии, которое через рукоположение епископа получает право и обязанность учить свою паству, совершать для нее таинства, 2) в реформаторской Церкви – старшина, светский представитель общины в церковном совете, а также *иерей* (греч.).

Грецизм *иерей* как в эпоху Древней Руси, так и в более позднее время оставался в сфере церковной речи и употреблялся преимущественно в переводных памятниках религиозного содержания, в текстах Священного Писания.

Разнообразие терминов, обозначающих понятие “священник”, зависело от локализации того или иного названия. Общеупотребительным в древнерусском языке обозначением священника было слово *поп*, старое, распространенное во всех славянских языках заимствование, но источник этого заимствования точно не установлен (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1986). Широкое употребление в разговорном языке, параллельное более официальному названию – *священник*, снизило стилистическую окраску слова *поп*, и теперь оно выступает лишь с отрицательно-экспрессивным оттенком.

Старший священник, настоятель храма – *протоиерей* (греч. – *первосвященник*) – до начала XIX века – *протопоп* (греч.). *Протопресвитер* (греч. – *старший священник*) – это исключительно почетное звание старейшего по заслугам или власти священника. Начальный компонент данных слов *прото-* – усилительная приставка, возникшая в сложениях по образцу греческих заимствований с *прото-* (греч. *protos* – *первый*).

К низшему духовному сану в православной церкви относится и *дьякон/диакон* (греч.). Во II – III веках слово *дьякон/диакон* обозначало служебную должность при епископе; он ведал хозяйственными делами христианской общины, затем стал помощником иерея при богослужении и отправлении обрядов. *Дьяконы/диаконы* – священнослужители низшей (первой) ступени христианской церковной иерархии, они участвуют в совершении церковных таинств, прислуживают епископам и пресвитерам, но сами таинств не совершают; провозглашают Ектеньи, читают Евангелия, подготавливают на алтаре все необходимое для литургии; непосредственно подчиняются настоятелю храма. Дьякон, принявший монашество, называется *иеродиакonom*. *Старший дьякон/диакон* в белом духовенстве называется протодьяконом (первым диаконом), а в монашестве – *архидьяконом* (старшим диаконом).

Диаконат – это институт низших чинов и католической иерархии. Функции и положение диаконов менялись в ходе истории Церкви. В средние века диаконат рассматривался как предварительная степень на пути к священству. II Ватиканский собор восстановил диакона как постоянный чин католической иерархии (диакон – священник – епископ) с литургическими функциями: диакон assisteрует священнику при совершении таинств, хранит и раздает гостии (облатки – маленькие лепешки из пресного пшеничного теста; от латинского “жертва”), читает Священное Писание и т.п.



Разные названия и значения одного документа

*А. Н. КАЧАЛКИН,
доктор филологических наук*

При составлении двух или нескольких экземпляров документа, по своему смысловому заданию точно соответствующих друг другу, допускались различия в форме. Документ мог составляться разными лицами: покупатель, продавец, подряжающийся или подрядчик – “Се яз купил...”, но “Се яз продал...”.

По этой причине один и тот же документ, сохраняя сущность и смысл, менял названия, которые каждый раз оказывались более нужными и более точными с точки зрения субъекта и объекта, адресанта и адресата. Например, один и тот же документ являлся одновременно и *Выписью* и *Памятью*. *Выписью* он назван потому, что это копия отрывка из другого документа, грамоты; *Память*, по назначению – документ, доказывающий право на землю, охраняющий это право, напоминающий об этом праве местным властям: “А отказную выпись писал с отказных книг, слово в слово церкви Успения Богородицы, что в Сидоровской волости церковной дьячек Фетька Степанов сын Новгородцов. К сей отказной памяти Успенской поп Стефан Васильев вместо сына своего духовнаго откащика Ивана Федорова сына Куломзина, по его веленью, руку приложил” (1682 г.).

Рассмотрим далее *Вспросные* и *Обыскные* речи, которые для адресата и адресанта имели разные смыслы: "... приехал неслуживой сын боярской Иван Макарьев сын Обернибесов в Деревскую пятину, в Коломенской погост, в Спасову вотчину Хутыня монастыря, спрашивал и обыскивал священника по священству, а старосты и волостных людей по государеву крещенному целованью про Иванова поместья Гордеева... да волостные люди... (16 имен) и все обыскные люди сказали... были те деревни за Иваном за Гордеевым, а после его были за сыном за его за Сурьянином за Гордеевым, а нынеча те деревни стоят порожни... А *вспросные* и *обыскные* речи писал Пречистинской дьячок Коломенского погоста Богданец Никитин. К сим *вспросным* речем поп Филип и в детей своих духовных место руку приложил" (1589 г.). Для священника (объекта) эти речи *Спросные* (священник назвал их *Вспросными*), для "командированного" по указу царя боярского сына эти речи *Обыскные*, для него они отчетный документ по ревизии, обыску, делу, на которое его послали.

Для адресанта важен факт вклада в монастырь. Для адресата существенно факт лишения прав на имущество прежнего владельца, на имущество, которое тот добровольно отдал во владение монастырю. Отсюда и разные названия данной Грамоты – *Отданная* и *Вкладная*: "Список с отданное слово в слово. Се яз Иван, Васильев сын Белянкин, да Федор Онтипин сын Белянкина, Бехтерь, что у нас деревня в Сухонском стану на Котовале Ременниково, да полдеревни Репино... ту полторы деревни отдали вклад на Устюг ко Архангелу в дом в обчей монастырь архимариту Иеву и всей братье за свои вклады... А у кого та полторы деревни в записех или в кабалах в каких крепостех ни буди, или которья волостныя невыплаты и кабалы в прошлых годех и всяк я потуги земския и Ивану, да Онтипе, и с своими детьми, которые в сей вкладной, писаны, окупати в старинах всякие потуги за прошлые годы и кабальной долг... Вкладную писал Ивашко Исаков, сын" (1549 г.).

Адресант "подпускает", присоединяет к монастырской земле свою землю, очевидно находящуюся рядом, возможно, расположенную ниже. *Подпускать* В.И. Даль определил как "допустить или дать подойти под низ чего, или близко к чему" (Толковый словарь живого великорусского языка М., 1989. Т. III). С точки зрения нового владельца это *Отпускная*, фиксирующая акт безвозвратной утраты земли прежним владельцем. *Подпускная* и *Отпускная*: "Се яз Онсифор Ортемиев сын Комаров потпустил есми святому Егорию землю в дом в Кехте, что мне Инар заложил и продал, да подпускную есми дал ... А выляжет купчая или закладная, и мне Оцыфору тое земли не очищати, а очищати волощаном самим да и стояти за нее. А на то послуши Степан Иванов Кузнецов да Еким Севастьянов сын. А отпускную писал дьяк спаской Богданко Кропоткин сын ..." (1537 г.).

Рассмотрим еще одну пару: *Память* и *Отпускная отпись*. *Отпись* – документ для крестьянина. Об *Отпускной отписи* упоминается в свя-

зи с указанием размера пошлины. *Память* – в указание помещику, что он отпускает после своей смерти крестьянина, а до того времени крестьянину “никуда поряжатися и никуда не сойти”: “Память Петру Андрееву сыну Ногину. Дал есми отписи крестьянину своему Олиску Мартемьянову сыну Себежанину, в том, что тот Олиско пришел за меня государева жалованья а в мою вотчинную деревню... а взял он Олиско у Харки дочь ево Ненилку, и ему Олиску жити на той деревни у тестя своево за мной Петром во крестьянех по мой живот... и после моево живота волно ему с тое деревне Олиску з женою своею Ненилкою идти, куда он похочет, да в том ему и отпись дал. А отпись писал Ивашко Андреев с площади подьячей. А назаде у подлинной отписи пишет к сей отписи Петр Ногин руку приложил. И с тое отпускнуой отписи пошлин 6 алтын взято” (1637 г.).

В практике русской канцелярии нередки случаи, когда один и тот же документ по истечении определенного срока приобретал новое значение, в связи с чем изменялось и его название. При составлении документа его автор или исполнитель оговаривали эту особенность заранее.

Впервые нам встретилось это явление в памятнике 1482 или 1483 года, названном *Кабалой и Купчей грамотой*: “Се яз, Наум да Онцифор, Негодяевы дети, да яз. Еляха да Данило, Степановы дети, заняли есмя у Гаврила у Петрова сына Ушакова двенадцать рублей московских серебром ходячим от Юрьева дни осенняго до осенняго на год. А в тех есмя ему денгаг заложили свои наволоок на рике на Шексне... А не заплатим мы на срок денег, ино ся кабала на нашъ наволоок на Шубацкой четьре стожья, и купчая грамота без выкупа в веки. А у кабалы и у купчие сидили мужи... А сю кабалу и купчую писал Михаилу Ермольев...”.

Заказчики документа называют его *Кабалой*: за деньги они заложили принадлежавшую им землю, наволоок на реке. Не желая оставаться в имущественной зависимости в случае неустойки (неуплаты денег в срок), считать его с установленного заранее срока (от Юрьева дня) *Купчей грамотой*. Во время составления документа ему присвоены оба названия (что видно из оформляющей части), но и каждый определенный период он действителен как один документ: то как *Закладная кабала*, то как *Купчая грамота*.

Обращает на себя внимание признак формирования жанров, четкое различение типов документа уже в столь раннее время. Вместе с тем такое явление в русской канцелярии было весьма устойчивым.

Аналогичную картину наблюдаем во многих других документах, в частности в *Кабале и Купчей*, написанной два с лишним века спустя: “Се аз Спенцынского оброчного стану, Иван Иванов сын Короваев занял у тяглого человека Березовского стану у Филимона Савина сына Лаженицына сорок рублей денег Московских, ходячих до сроку, до Семенова дни, лето начатца 208 году, а в тех деньгах на тот срок я за-

имщик Иван подписал ему Филимону пожню свою оброчную... а не выкуплю я заимщик сея кабалы на тот срок, и на ту мою пожню сия кабала и купчая, и о сроке в таможенные книги записать; кто с сею кабалою станет, тот ей истец, а в отводе межном и во очищение от подписок кабалных и от всяких крепостей я заимщик Иван в том во всем..." (1699 г.).

Этот документ отличается более подробным изложением обязательств "заимщика" (очевидно, в связи со случавшимися в подобной практике прецедентами). Из текста видно, что совершенствуется канцелярское дело, ширится документооборот: срок действия документа записывается в определенные книги.

Есть случаи, когда в названии уточняется предметно-тематическая разновидность *Кабалы*: "А будет я Иван тех заемных денег ему Василью на тот мой двор после сроку ся закладная кабала и купчая, волно ему Василью после сроку тот мой двор продать и заложить и во всякие крепости укрепить и самому владеть, по сей моей закладной" (1691 г.).

У документа в новом его качестве могло быть и несколько определений, но среди них только одно выступало как основное, ключевое, отражающее самую суть его нового свойства; остальные же оказывались хотя и нужными, но второстепенными по смыслу. Вместе с тем каждое второстепенное определение уточняет и дополняет смысл ключевого определения, например, *Кабала*, *Купчая*, *Поступная*: "А будет я Павел на тот срок на Троицын день тех денег полутора ста рублей не заплачу, и на ту мою купленную вотчину, деревню Починок Савинского и на варницы и со всяким заводом, ся кабала и купчая и поступная; вольно им Ждану да Константину самим владеть, и продать, и заложить, и по душе отдать. В том я Павел Григорьев им Ждану да Константину сю заемную и кабалу дал. А сю заемную кабалу писал я Павел своею рукою" (1663 г.). Из документа видно, что по истечении определенного срока прежняя *Кабала* станет *Купчей* – это и есть ключевое слово, определяющее новое качество документа, однако автор документа особо выделяет тот момент, что он при невыполнении своего обязательства поступает своим прежним имуществом, полностью отказывается от него, и значение *Купчей* усиливается еще и определением *Поступная*.

Приведем еще один похожий пример: *Закладная кабала, купчая и Дерновая*: "Се аз Анна да Устенина Андреевы дочери Комара Моржегорской волости заняли есми Никольсково монастыря Нижново Моржу у строителя у старца у Васьяна з братьею шездесят рублей... А в тех осми деньгах мы заимщицы Анна да Устенина ему старцу строителю Васья(ну) з братьею заложили есми останеи отца своего Ондreja Иванова сына Комара, а по дельной брата своего попа Ивана Ондreja сына Комарова же в Моржегорской волосте деревню свою, две доли Олексеевской деревни, по купчим крепостем ... А не выкупим

мы заимъщицы Анна да Устения тое своеи деревни на тот срок... с та наша ся закладная кабала купчая и дерновая на ту нашу Олексеевскую деревню на две доли” (1626 г.).

В поле нашего зрения попались документы и гораздо большим числом определений: *Благословенная* и *Данная запись*; *Данная* и *Купчая*, и *Отступная*, и *Дерная*: “Се яз, во иноцех старец Степан Николского монастыря Корелского, благословил есми и отдал дочери своей Неонилы, в Евсевьев жены, царевы и великого князя земли, а своего владенья... а тою есми землю дочь свою благословил и отдал в дернь без выкупа. И тою землею и с угоды и двором, и дворищем дочери моей владети и в век по сей благословенной и даной записе; а ся есть даная дочери моей и купчая, и отступная, и дерная на ту мою землю и с угоды по той земли и двору, и дворищу... А даную писал вознесенской церковной диячек Федка Васильев Понов...” (1582 г.).

Автор этого документа особенно тщательно описывал все обстоятельства дарения имущества своей дочери. И все же ключевым определением документа в его исходном качестве является *Данная* (что и выделил в оформляющей части документа писец-дьячок), а в новом качестве – *Купчая*. Значение *Купчей* усиливается определениями *Отступная* и *Дерная*, что означает полный и бесповоротный отказ от своего прежнего имущества. *Дернь* у Даля: “стар. ж. недвижимость в вечном нерушимом владении, собственность, собина. *Продали есми ему в дернь*, вовсе, безповоротно, в вечное владение” (Даль. Т. I.)

Сравнительно редко встречаются документы, в которых отсутствует название жанра, а именуются они в нынешнем и будущем качестве лишь по теме: *Закладная* и *Променная*: “Се аз Кожевницей полусотни Иван Демидов сын Быков, занял я на Москве Пушкирского Приказу колоколных дел у мастера у Федора Дмитриева сына Моторина двадцать рублев денег Московских ... А в тех денгах до тех сроков поставил я Иван у него Федора Божие милосердие, иконы, а свое моление ... а будет я Иван тех заимных денег на те сроки не заплачу, и ему Федору на то мое моление ся закладная и променная... А закладную писал Ивановские площади подьячей Кирюшко Вавилов...” (1685 г.).

В момент составления документа это только *Закладная* (*запись*, *Память*), со временем при определенных условиях этот документ может стать *Променной* (но уже не *Закладной*). Возможно, что не случайно здесь нет названия жанра. Документ, неопределенный по типу в связи с неясностью конечного результата, – это документ с обязательством (*Запись*) или же с распоряжением (*Память*).

Примерно до конца XIV века многие деловые тексты их составителями назывались по преимуществу просто *Грамотой*. Так, в частности, в середине XV века (примерно в 1450–1473 гг.) именовался документ от великой княгини Марии Ярославны посельским людям о бес-

препятственным пропуске через ее территорию старцев и слуг Троице-Сергиева монастыря. В 30-х годах XVI века эту *Грамоту* понадобилось скопировать, но в это время, когда уже сложились, оформились новые разновидности жанров и сами новые жанры, бывшая *Грамота* по ее содержанию была названа *Подорожной*: “Список с Подорожной. От великия княгини Марьи в Никитское посельскому моему Кузьме Зубову да иным моим посельским, кто будет посельских потом. Посылает игумен троецкой Сергиева монастыря да и келарь своих старцов да и слуг к Солци к Переславской по соль на телегах и на возех, ино им путь возле мое село Микитьское, путь чист: споны бы есте им не чинили некоторые, хто мой посельской нибудь... А кто их издержит или какову учинит им спону, быти им от мене в казни.

Да прочтет сю мою грамоту, да ее давайте троицким старцом или слугам, и они ее держат себе впрок иных деля моих посельских.

Подпись на грамоте: Княгиня великая”.

Аналогичный случай переименования новой канцелярией прежнего документа видим и в следующем тексте: “Список с купчие на Исаково. Се яз, Борис Новохщеной, купил есми у Зиновья у Дмитреева сына у Слотина себе землю Исаковскую, куда его плуг ходил, куда коса ходила, куда топор ходил. А купил есми себе и своим детям без выкупа. А дал есми на ней четыре рубли, да овцу пополнка... А на то послуи: Олексей Конанов, да Малафей Васильев сын Костин, да сын Зиновьев Тимофей. А грамоту писал Аксак Юрьев сын Новохщеного. А грамоту есми дал без печати” (ок. 1450-х–80-х гг.).

Документ был написан во второй половине XV века и назывался *Грамотой*. Список с него сделан в середине XVI века, когда жанры дифференцировались уже весьма значительно. Новая канцелярия присваивала старому документу иное название, соответствующее ее нормам и правилам.





НОС С КОРОСИНЬКОЮ

В. П. ШУЛЬГАЧ,
доктор филологических наук

Это словосочетание зафиксировано под 1719 годом в кабальных записях, относящихся к территории бывшей Орловской губернии: “А по осмотру Якушка Иванов сын ростом средней, волосом на голове светло-рус, лицом продолговат, сухоток, глаза в каре-серы, *нос с коросинькою*, у правой руки, на мизеном персту бородавка не много знать, насказал себе семнадцать лет” (Юридические акты, сообщенные А.Г. Пупаревым. Кабальные записи // Труды Орловской ученой архивной комиссии. Орел, 1889. Вып. 6. Курсив в цитатах наш. — В.Ш.). Учитывая тот факт, что слово *коросинька* отсутствует как в Словаре орловских говоров, так и в Словаре русских народных говоров (далее СРНГ), оно, несомненно, представляет интерес для этимологов. В каком же значении употреблено оно в процитированном отрывке?

Обратимся к другим текстам кабальных книг, например, из территории Великого Новгорода. В них при описании портрета человека (в частности, носа) использовались следующие выражения: *нос перелук*, *нос перелуковат*, *нос кокороват*, *кляпонос*, *нос долок*, *покляп*, *нос покляп*, *вскоронос*, *нос наливо покривился*, *нос у него крив*, *носа*, *востронос*, *нос прям*, *нос прямоват*, *корконос*, *на лица и на носу поямке*, *на носу пестринки*, *нос широк*, *нос плоск*, *нос прям*, *на концы носа покляпинка невелика*, *нос кореповат* и др. (Новгородские записные кабальные книги 100–104 и 111 годов [1591–1596 и 1602–1603 гг.] // Под ред. А.И. Яковлева. М.–Л. 1938).

Значения некоторых из этих примеров можно восстановить, исходя из аналогичных или близкородственных соответствий в диалектной лексике, а именно: русское *кляпоно́сый* “имеющий сплюснутый и пригнутый на конце нос”, *покля́пленный* “прижатый книзу, сплюснутый, скривившийся”, *покля́п* “крючковатый, с горбинкой (о носе)”

(СРНГ. Вып. 13, 28); старорусское *корконос* “коротконосый”, болгарское диалектное *карканос* “крючконосый”, польское диалектное *kor-konos* “человек с непомерно вздернутым носом” (цит. по: Козлова Р.М. Праславянское слово в генетическом гнезде. Структура праславянского слова. Гомель, 1997); старорусское *перелукий* “искривленный” (Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1988. Вып. 14); украинское диалектное *перелукий* “дугообразный” (Онишкевич М.И. Словник бойківських говірок. Київ, 1984. Т. 2); русское диалектное *корѣпаный* “изрытый оспой (о лице)”, “негладкий, шероховатый” (СРНГ. Вып. 14) и под.

Что же касается загадочного *коросинька*, то говорящим в данном случае является отрывок из другого текста кабальных записей: “По осмотру, Артюшка плосколик, *нос вскорос (?) с горбиною*, глаза серы, волосом голова немного изтемно-руса, в лице и на носу, и на лбу от оспы ямки...” (Юридические акты, сообщенные А.П. Пупаревым). *Вскорос с горбиною*, по всей вероятности, “вздернутый, неровный, не-прямой”. Для сравнения приведем родственные (связанные на основе количественного чередования) русское диалектное *вскорсы* “вздернутый, курносый” (Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1978. Т. I), а также украинское диалектное *кирсатий* “курносый” (Желехівський Э., Недільський С. Малорусько-німецький словар. Львів, 1886. Т. I) < **корсатий*, *корсоногий* “кривоногий” (Матеріали до словника буковинських говірок. Чернівці, 1976. Вип. 4) и др.

Русское *коросинька*, производное от **коросина* (первоначально прилагательное на -ин-), мотивировано именем существительным *корос* или *короса*. Последние представлены в Словаре русских народных говоров: *кóрós* “скирд льна”, *кóрósы* мн. “жерди для просушки льна” (СРНГ. Вып. 14) < более общего значения “неровность”. Их генезис описан в специальной литературе (см.: Козлова Р.М. Указ. соч. С. 178–180). Таким образом, *нос с коросинькою* – это “вздернутый, неровный, не прямой нос”.

Украина,
Киев



Липецкие планы

Л. И. МАРШЕВА,

кандидат филологических наук

В основе многих названий Липецкой области лежат географические термины, составляющие группу слов, которые легче других переходят в имена собственные.

Один из них – *план/плант*. Он интересен не только сам по себе, но и с точки зрения диалектной многозначности, синонимии и коммуникативной востребованности.

Значения слова *план/плант*, которые будут описаны далее, не приводятся ни в материалах Ф.Н. Милькова “Типология урочищ и местные географические термины Черноземного Центра” (Научные записки Воронежского отдела Географического общества СССР. Воронеж, 1970. Вып. 2), ни в “Словаре народных географических терминов” Э.М. Мурзаева (М., 1984), где вообще нет статьи о *плане/планте*, а также не картографируются в “Диалектологическом атласе русского языка” (Диалектологический атлас русского языка. Центр Европейской части СССР. Синтаксис. Лексика. М., 1996, 1998. Ч. III).

Самым распространенным значением слова *план/плант* в исследуемых диалектах можно считать “улица в деревне”: “Медичка у нас на Планту – это вроде улица по-вашему, по-московски”. Такая семантика фиксируется даже в “Словаре современного русского литературного языка” с пометой *обл.* (Словарь современного русского литературного языка. М.–Л., 1959. Т. 9).

Слово *план/плант* для обозначения указанного предмета никогда не употребляется в говорах одиночно – оно всегда входит в синонимический ряд, например, *улица – порядок – конец – план/плант*.

Ряды, порядки возникли в XV веке в Новгородской земле как самые мелкие единицы районирования: *порядок* – “ряд домов, построенных в линию и обращенных к реке, озеру, оврагу, дороге” (Мурзаев. Указ. соч.). *Концами* изначально именовались окраинные части города, района, области, села (Там же), а словом *улица* – “проход, проезд между рядами домов в населенном пункте”, которое с самого возник-

новения употреблялось на обширной русской территории (Об истории лексики административного районирования см., например: Богачук В.В. Наричательные наименования населенных пунктов и их частей в памятниках русской народности XIV–XV веков. Киев, 1972; Чайкина Ю.И. Административно-территориальная лексика и микротопонимия старорусского города // Севернорусские говоры. Л., 1989. Вып. 5).

Диалектные географические апеллятивы-синонимы *конец*, *порядок*, *план/плант* со значением “улица в деревне” часто топонимизируются. Иными словами, имя нарицательное – либо в “чистом” виде, без всяких изменений, либо с добавлением согласованных компонентов – превращается в собственное: *Конёц*, *Стáрый конёц*, *Жáров порядок* (Чаплыгинское), *Орéхов порядок*, *Блiжний плант*, *Зéнкин плант*, *Пéрвый плант*, *Второй плант*, *Трeтий плант*, *Стáрый плант*, *Тянкин план*.

Получается, что в говорах севера Липецкой области представлены почти все общерусские слова, которые входили в лексико-тематическую группу “административно-территориальные части населенных пунктов” с момента его формирования в русском языке.

В качестве самостоятельного необходимо выделить и такое значение слова *план/плант*, как “дома на одной стороне улицы”. Структура лексикографической статьи из “Словаря русских народных говоров”, в которой необоснованно соединены названия двух разных реалий, нам представляется неточной: “**План**... 4. Улицы (в селе); одна сторона улицы (рязанск., уральск., томск.)” (Словарь русских народных говоров. Вып. 27).

Если говорить об употреблении слова *план/плант* со значением “дома на одной стороне улицы”, то приходится констатировать, что данный вариант постепенно уходит из центра семантической структуры на периферию. Одну из причин такого изменения можно увидеть в том, что для современных сельских жителей недостаточно проясненным и прагматически неопределенным оказывается предметное содержание, связанное с рассматриваемым понятием. Характеристика “дома на одной стороне улицы” перестает быть удобным ориентиром, теряет указательный смысл: улицы в современных селах настолько малы, что их незачем дробить.

Что касается синонимических отношений, то в значении “дома на одной стороне улицы” *план/плант* регулярно заменяется апеллятивом *сторона*.

Следовательно, если учитывать, что одной из основных функций географических названий является именно ориентирование в пространстве, становится ясным, почему в говорах Липецкой области не зафиксировано ни одного случая онимизации географического апеллятива *план/плант* с семантикой “дома на одной стороне улицы”.

В связи с этим важным оказывается и следующий факт: при выявлении значения “ряд домов на одной стороне улицы” наталкиваемся

на пестроту и нерасчлененность семантики – явление более характерное для говоров, хотя и встречающееся в литературном языке.

Иногда без дополнительных комментариев нельзя четко разграничить значения “дома на одной стороне улицы” и “улица в деревне”. Первоначальные контексты в некоторых случаях бывают совершенно непрозрачными. Однако их достоверность редко подвергается сомнению, что приводит ко многим неточностям и натяжкам, особенно в лексикографической практике: “Имея в виду взаимосвязанность значений, необходимо отграничивать одно значение от другого, чему в определенной мере помогает структурное расчленение каждого значения” (Бойцова Е.О. Способы лексикографической интерпретации расчлененности значения диалектного слова // Диалектное слово в лексикографическом аспекте. Л., 1986).

Действительно, первое употребление в большинстве случаев показывает, что слово выступает с тем или иным значением, однако “точно так же... в других случаях отдельные из этих значений могут не ограничиваться друг от друга” (Шмелев Д.Н. Проблемы семантического анализа лексики (на материале русского языка). М., 1973). В последней ситуации, конечно, может помочь расширение контекста. Но и оно не всегда приводит к полной ясности, вопреки мнению многих исследователей. Иначе говоря, лексико-семантические варианты опять не диагностируются: “План – это когда дома стоят”; добавление – “улица – с двух сторон, а план – избы с одной стороны”.

Следовательно, выйти из тупика семантической запутанности можно, если существенно раздвинуть рамки коммуникативного поля, то есть получить от информанта максимум нужной дополнительной информации.

Следующее значение географического термина *план/плант* – “ровная поверхность земли, не используемая для хозяйственных целей”. Здесь важно подчеркнуть, что данный термин не является синонимом к апеллятивам *отшиб* – *пустошь* – *пустырь*: “На отшибах ничего не посодишь, а планты долго не пустовали”. Рассматриваемый лексико-семантический вариант не фиксируется ни одним словарем русского языка.

В этом значении слово *план/плант* напрямую связывается с исконной, этимологической семантикой, латинских слов-источников: *planus* “плоский; ровный; имеющий сплюснутую форму”, *planum* “ровное место, равнина” (Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. М., 1996). Отсюда совершенно закономерные параллели в современных европейских языках, через посредство которых слово *план* пришло в русский язык: французские *plan* “ровный, плоский; плоскостной”, *plan* “плоскость, поверхность”; немецкие *plan* “ровный, плоский”, *der Plan* “площадь; равнина; плоскость”, английское *plane* “плоскость; плоский, плоскостной” (Ганшина К.А. Французско-русский словарь. М.,

1979; Большой немецко-русский словарь. М., 1997. Т. II; Мюллер В.К. Англо-русский словарь. М., 1990).

В связи с этим небезынтересно проанализировать пример XVIII века из “Книг полного собрания навигации, морского корабельного флота капитаном Семеном Мордвиновым сочиненные”: “План, или плоская поверхность” (Цит. по: Мораховская О.Н. Крестьянский двор. М., 1996). Данный контекст фиксирует по крайней мере три факта. *Во-первых*, в нем просвечивает семантика, которая полностью совпадает с этимологической. *Во-вторых*, именно это прямое значение стало основанием для метонимического переноса (модель “место” → → “схема этого места”), в результате которого возник один из самых распространенных во всех современных славянских языках лексико-семантический вариант – “чертеж, изображающий на плоскости местность, предмет, сооружение методом прямой горизонтальной проекции”. *В-третьих*, пример XVIII века оказывается связанным с современной диалектной лексемой, бытующей на рубеже 20–21 столетий.

Наконец, последний лексико-семантический вариант, возникший совсем недавно – в конце 90-х годов XX века. В некоторых липецких деревнях апеллятив *план*, который, казалось бы, навсегда вышел из употребления, неожиданно родился заново. *Планами* стали называть места компактного расселения мигрантов из бывших республик СССР (Белоруссии, Молдавии, Казахстана и др.), причем самым актуальным является здесь значение удаленности, чужеродности: “На планах они и поселились – как бы чуть в сторонке”.

Нетрудно заметить, что в исследуемых говорах географический термин представлен двумя вариантными звуковыми комплексами: *план* и *плант*, функциональное соотношение которых примерно одинаково.

Что касается грамматической специфики слов *план/плант*, то оно, изменяясь по первому склонению, имеет в предложном падеже единственного числа только – у. Это окончание местного падежа в данном случае – правило, не знающее никаких исключений: “На Большом плану жили те, кто в чести”; “В Плану нонче и не живеть никто”.

Местный географический термин *план/плант* также занимает достаточно прочные позиции в словообразовательной системе, составляя цепи, ряды и гнезда: *план – плáнттик – плáнттишко – плáнтный – плáнтóвый*. “Плантики – это у нас маленькие улочки, так домишков десять”; “Дом у белоруски – во-о-он плантовый”.

Итак, географический термин *план/плант* можно отнести к тем словам диалектного языка, которые, обладая богатыми семантическими и системными возможностями, в настоящее время имеют шанс перейти из пассивного запаса в активный.



Пейзаж в народной волшебной сказке

Т. Г. ДМИТРИЕВА,

кандидат филологических наук

Описание природы, незамкнутого пространства в волшебной сказке занимает незначительное место, но зато теснейшим образом связано с развитием сказочного действия. Стилистический анализ приемов подачи пейзажа показывает нам эту неразрывную связь, стремительный переход к повествованию.

Рассмотрим характерные примеры, взятые из основных классических сборников русских сказок:

Народные сказки А.Н. Афанасьева в трех томах. Т. I–III. М., 1957, далее – А; Зеленин Д.К. Великорусские сказки Пермской губернии. Пг., 1914, далее – ЗП; Зеленин Д.К. Великорусские сказки Вятской губернии. Пг., 1915, далее – ЗВ; Севернорусские сказки в записях А.И. Никифорова. М. – Л., 1961, далее – Н; Ончуков Н.Е. Северные сказки. СПб., 1908, далее – О; Великорусские сказки в записях И.А. Худякова. М. – Л., 1964, далее – Х.

Традиционный для лирической песни прием ступенчатого сужения образов используется в волшебной сказке при описании ландшафта, встречающегося на пути героя. При этом сказочник обходит про-

стым перечислением, построенным путем цепочного присоединения, а также употреблением крайне немногочисленных глаголов со значением размещения в пространстве: *стоит, сидит, лежит*. “Вот и зеленый луг, на лугу трава муравая, на траве кровать тесовая” (А. Т. 2. С. 273); “Приезжает в лес, в лесу огромный дворец стоит. У этого дворца стоят три дуба” (Х. С. 94); “Подъезжают к морю. У моря стоит терем; у этого терема столб стоит, на столбе подпись...” (ЗП. С. 89). Пейзажные эпитеты – устойчивы: *чистое поле, дремучий лес*, но сказочному описанию свойственна тенденция наряду с эпитетом употреблять его глагольный эквивалент: например, *непроходимый лес* – это тот, который *ни пройти, ни проехать*: “Она бросила гребенку – сделался дремучий лес, нельзя ни пройти, ни проехать” (А. Т. 2. С. 207); “Приехали к такой горе: ни взойти, ни взехать на эту гору...” (Х. С. 301).

Во всех этих случаях мы встречаемся с приемом описания, который можно назвать “глагольной реализацией эпитета”: “Войско подскакало и видит, что огненная река (...) Только войско это, кто из людей ни кинется, то сейчас и ошпарится” (Х. С. 241); “Пристигла его темная-темная ночь, да такая холодная, что зубом на зуб не попадешь” (А. Т. 2. С. 208). Этот прием часто выражается в форме безличной конструкции: “Приехали в лес, в такую глушь, что некуда идти” (Х. С. 62); “... И попал в такой дремучий лес, что кроме неба да деревьев ничего не видать” (А. Т. 2. С. 149).

Эти безличные конструкции призваны создавать впечатление погружения слушателей в мир сказочного пейзажа, т.е. выполнять суггестивную в этом смысле слова функцию. Рассказчик описывает происходящее “изнутри” ситуации, глядя глазами героя. Так, мы вместе с ним оказывается то на дне огромного рва, то у подножия высокой горы: “В этом во рву всякие гады, звери, и даже оттуда не видать солнечного света” (Х. С. 241); “Пришли к такой горе – страшно взглянуть: очень высокая” (Х. С. 63); “И вот перед ним гора высокая-высокая! Глазами не вскинешь” (А. Т. 2. С. 439); “Пусто кругом, не видать души человеческой” (А. Т. 2. С. 200); “Только никого, кроме птиц, не видно” (Х. С. 59); “Тихо, тихо, брат, волосом не вянет – ничего я не слышал” (О. С. 80).

Именно к таким примерам применимо наблюдение исследователя русской волшебной сказки В.П. Аникина: “Личность рассказчика как бы растворяется в художественных образах, картинах. Он весь захвачен рассказом о действиях героев... Слушатель невольно становится сопереживателем действия” (Аникин В.П. Русская народная сказка. М., 1977. С7 164, 165).

Рассмотрим два основных типа пейзажа, встречающихся в народной волшебной сказке. Прежде всего, это пейзаж-препятствие, в роли которого выступают лес, гора, река, море: “Войско подскакало к лесу и видит, что непроходимый лес. Они воротились назад, взяли топоры и прорубили себе дорогу” (Х. С. 241).

Поскольку пейзаж-препятствие колдовской, то в его описании используются стилистические приемы заговоров, но они органически вписываются в сказочные формульные стереотипы, построенные с использованием перечисления, усилительного отрицания с частицами “ни, ни”, безличных конструкций с глаголами в неопределенной форме: “Стань лес темный, от неба до земли, от земли до неба, от востока до запада, не пройти бы не проехать ни конному, ни пешему” (О. С. 310).

Такое “расширенное” включение пейзажа как препятствия “уравновешивает” повествование о его преодолении: «“Стань гора не проходима до неба, чтобы не было птицы пролету, зверю проходу, черту проезду”. Гора и стала. Чортишо с горы приехал, стал сечь, да рубить и просек дорожку, поехал за Настасьей Царевной» (О. С. 148).

О погоде в сказке упоминается только в связи с дальнейшим сюжетным развитием: так, если говорится о жаре, то это значит, что из-за нее произойдет нечто важное: “У этого дворца стоят медные ворота, у этих ворот стоят два льва привязаны. День жаркой такой был. Этот Арикад-царевич натаскал воды этим льявам, напоил их. Они его пропустили” (Х. С. 63).

Повествование о жарком дне играет роль мотивации поведения персонажей в сюжете “Чудесное бегство”. Отцу будущего героя сказки в жару сильно захотелось пить: “Вот он ходит по лесу, жар, зной, с ружьем, как охотник, да и захотел пить” (Н. С. 117); “Однажды ехал купец. Был очень жаркий день; купец слез с лошади, подошел к реке и начал пить. Вдруг кто-то поймал его за бороду и не отпускает” (ЗВ. С. 377). Вместо реки может быть озеро или колодец.

Таким образом, для пейзажа-ловушки характерно упоминание о жарком дне: поэтому герою захотелось пить, и морской царь схватил его за бороду – так он попался в ловушку.

Рассмотрим другой пример, встречающийся в сюжете “Бой на калиновом мосту”, где также говорится о жаре, о намерении героя попить или отдохнуть и о той ловушке, которая его ждет, так как пейзаж, который он видит, колдовской: “Я забегу вперед жарой; и будет сад, в саду будет колодец: как в колодце воды напьюцца, их на три части разорвет” (ЗП. С. 91). Описание пейзажа-ловушки сразу переходит в повествование, которое строится на двучастной глагольной конструкции, в ее первой части – глаголы в форме будущего времени, а во второй части – глагол “разорвет”: “Поди овернись колодчём, ключёвой водой и чарочкой золотой. Станут они эту воду пить, их разорвет, растреснёт на мелки маковы зерна” (О. С. 81–82).

Разрушение пейзажа-ловушки также построено на двучастной глагольной конструкции “ударил” – “не стало”: “Немного отъехали, вдруг и сделались духота и жара, и сделался сад, в саду колодец {...} Взял плеть, пошел в сад, перекрестил этот колодец, плетью по колодцу ударил, Ягу Ягишну убил, и саду не стало” (ЗП. С. 90); “...Начал

этот колодец сечь и рубить – только кровь брызжет, вдруг сделался день туманный, жара спала и пить не хочется” (А. Т. 1. С. 273).

Описанию природы рассказчик уделяет внимание в сказке лишь потому, что такой пейзаж является необходимым “звеном” в развитии сюжетного действия: «Едут они путем-дорогою, пристигает их темная ночь; подъезжают к одной хижине. “Брат Буря-богатырь, вишь, дождик заходит, давай обночьем в этой хижине...” Сошел он в эту избушку и начал рубить ее – только кровь прыщет!» (А. Т. 1. С. 24).

В сказочном повествовании мы можем встретить выражения “делаюсь бурей”, “забегу вперед жарой”, а также формулы проклятия по типу “проклял чем-либо”: “И проклял свою дочь, на три года на небо звездой” (Н. С. 122); “Проклял ее три года рекой течти...” (ЗВ. С. 381).

Эти стереотипные конструкции отражают веру наших предков в оборотничество. Многочисленные примеры превращений героев, стремящихся уподобиться окружающему ландшафту, находим в сказках сюжетного типа “Чудесное бегство” с “формулой оборотничества” – “превратила(сь) в...”: “Жена, как волшебница, превратила лошадь в темную ночь, а сами в небесные светила” (Н. С. 122); “Василиса Прекрасная сделала его огородом, а себя кочаном капусты... Не видать ничего в чистом поле, только и видели один огород, а в том огороде кочан капусты” (А. Т. 2. С. 203).

Как видим, диапазон возможностей сказочного вымысла при всей его традиционности неограничен: от звезды до кочана капусты.

Все основные черты “пейзажной части” волшебной сказки, вплоть до устойчивых речевых конструкций, подчинены влиянию жанрового канона с его требованиями динамизма и занимательности действия.





Как барбон породнился с Бурбоном*

И. Г. ДОБРОДОМОВ,
доктор филологических наук

Страницы русской литературы содержат большое число старинных русских и иностранных слов, которые вышли или почти вышли из употребления и требуют специального разъяснения, для чего должны служить словари, которые, однако, с этой своей обязанностью справляются далеко не всегда. Виной неточностей обычно оказываются так называемые “историко-этимологические каламбуры”, как именовал в свое время В.В. Виноградов семантическое сближение слов на основе случайных созвучий (Виноградов В.В. Чтение древнерусского текста и историко-этимологические каламбуры // Вопросы языкознания. 1968. № 1). Об одном таком случае нам и хочется рассказать в данном материале. Речь пойдет о слове *бурбон*.

* Работа выполнена при поддержке РГНФ № 00-04-00251а.

Первые лингвистические попытки, рассмотреть историю этого слова, были предприняты на сравнительно ограниченном материале начиная с 1865 года (Отин Е.С., Максимова Н.В. Стилистические функции собственных имен в рассказах В.М. Гаршина // Восточнокраинский лингвистический сборник. Донецк, 1998. Вып. 4; Добродомов И.Г. Бурбон и Бурбоны // Русский язык в школе. 1998. № 6).

Яркий литературный портрет бурбона дал А.С. Афанасьев-Чужбинский в очерке “Бурбон”: «В кавалерийских полках прежнего времени, особенно где носилась не дорогая форма, как например в уланах и драгунах, нередкость было встретить офицеров из “палочной академии”, или так называемых бурбонов, которые, происходя из солдат, достигали иногда и значительных чинов, оставаясь однако же весь век теми же солдатами. Бурбон был ли он гвардейский или армейский, всегда строго держался в сфере своего типа и никогда не изменял своим привычкам, почерпнутым в казарме или на конюшне, пренебрегать солдатским, боялся офицерского, вытягивался в струнку перед старшим и давил подчиненного, всей тяжестью ложно понятой дисциплины» (Очерки прошлого А. Чужбинского. СПб., 1863. Ч. 1).

Не менее ярк сатирический портрет бурбона, добавленный в 1865 году И.С. Тургеневым в VIII главе рассказа “Петушков” (1848): “Майор этот был человек лет шестидесяти, тучный и неуклюжий с отекившим и красным лицом, с короткой шеей, с постоянной дрожью в пальцах, происходившей от излишнего употребления водки. Он принадлежал к числу так называемых “бурбонов”, то есть выслужившихся солдат, на тридцатом году выучился грамоте и говорил с трудом, частью вследствие одышки, частью от неспособности уразуметь собственную мысль”.

В речах литературных персонажей слово *бурбон* нередко употреблялось в сопровождении отрицательных эпитетов, как это встречается в романе (1862–1866) П.Д. Боборыкина “В путь-дорогу!..”: “Ея повесть вот какая: выдали ее замуж молоденькую, лет десяти, за одного полковника, как-то... ну, бурбона, грязного отвратительного (...). Мужья, бурбон часто ее пугал, писал ей отвратительныя письма...”; “– Ни на что не похоже, страсть напала на этих девчонок выходить замуж за разных перепендеев! Вот и Надя...”

– Неушто вышла?

– Как же, за бурбона за какого-то, за полковника. Он ее увез куда-то к чорту на кулички, в резервный батальон”.

В мемуарах М.А. Бестужева (1800–1871) “Мои тюрьмы”, написанных в 1869 году, слово *бурбон* употреблено применительно к событиям более ранним, причем слово это дается то с разъяснением, то в кавычках: «[Брат Петр] был потом сведен с ума в одной из кавказских крепостей, попав под начальство начальника этого укрепления – непроходимого бурбона, т.е. офицера из нижних чинов (...) Несчастливая

судьба Петра бросила его в лапы одного из тех животных, которые носят название “бурбонов”».

В свете этих портретов служилых *бурбонов* вполне понятен псевдоним-маска поэта-сатирика Д.Д. Минаева – *Отставной майор Михаил Бурбонов* как военный аналог Козьмы Пруткова.

В романе “На ножах” Н.С. Лескова (1870) один из положительных героев – “непосредственное продолжение нигилизма” майор Форов – характеризуется как “чудак, антик, нигилист чистой расы <...> и <...> бурбон немножко!”.

В некоторых случаях подчеркивается принадлежность слова к военной сфере: “Так, выслужившийся из солдат бурбон, как говорится в наших войсках, почуяв на плечах эполеты, находит отраду тиранизировать своих прежних товарищей, мстя им за все побои и брань, которые когда-то они вместе сносили от отцов-командиров” (Беседа. М., 1871. Книга VIII).

Ф.М. Достоевский употреблял слово *бурбон* то в терминологическом значении в романе “Бесы” (1871 г.): “Один седой бурбон капитан сидел...”, то в оценочном в “Братьях Карамазовых” (1879–1880): “Бурбон я был ужаснейший в большинстве тогдашних случаев”; “...я только нищий бурбон...”.

М.Е. Салтыков-Щедрин в IV главе “Господ Молчалиных” (1876 г.) в пародийной статье для газеты “Чего изволите?” А.С. Молчалина 2-го прибегает к ироническому народно-этимологическому сближению словечка *бурбон* с названием французской династии *Бурбонов* в лице Людовика XVI: “Этот добродушный самодержец инстинктивно чувствовал, что он – последний прирожденный король Франции и Наварры и что отныне имя Бурбонов всецело перейдет на главы тех русских офицеров, которые выслужились из кантонистов и сдаточных”.

Обычно существительное *бурбон* выступает в качестве компонента живой непринужденной речи в диалогах военнослужащих: “– Слушайте, Иванов, не делайте этого никогда! Если б на моем месте был какой-нибудь бурбон, вроде Шурова или Тимофеева, вы бы дорого заплатили за вашу шутку” (Гаршин В.М. Из воспоминаний рядового Иванова).

В драматической шутке А.П. Чехова “Медведь” (1888 г.) отражается употребление слова за пределами военной среды как бранного средства: “Вы мужик! Грубый медведь! Бурбон! Монстр! <...> Если у вас здоровые кулаки и бычье горло, то, думаете, я боюсь вас? А? Бурбон вы этакий!”.

Уже в 1880-е годы слово попадает в словарь в обоих значениях: “**Бурбон**, -на, м., фр.-офицер, выслужившийся из рядовых. В России бурбонами называются люди неразвитые, не получившие образования и неумеющие держать себя в обществе...” (Орлов А.И. Полный филологический словарь русского языка. М., 1884. Т. 1).

Выразительное слово *бурбон* без определения попало в словарь М.И. Михельсона “Меткие и ходячие слова” (СПб., 1894) и во второе его издание под названием “Ходячие и меткие слова” (СПб., 1896). Определение было бы наверное излишним, поскольку значение слова хорошо раскрывалось цитатами из рассказа И.С. Тургенева “Петушков” и “Господ Молчалиных” М.Е. Салтыкова-Щедрина. В дальнейшей обработке этого словаря, вышедшего в 1902–1904 годах под названием “Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии” в двух томах, появилась и дефиниция: “офицер, выслужившийся из нижних чинов (с грубыми замашками)”.

В связи с этими фактами приходится признать неправильным указание академического “Словаря современного русского литературного языка (2-е изд. М. 1991. Т. 1), что впервые слово *бурбон* попало в словарь только в 1934 году – в “Толковый словарь русского языка” под ред. Д.Н. Ушакова. Это случилось фактически за 50 лет до его выхода.

В родоначальнике больших советских словарей иностранных слов “Словаре иностранных слов, вошедших в русский язык”, выпущенном в 1933 году государственным издательством “Советская Энциклопедия”, – давались устаревшее и актуальное значения слов с сомнительным этимологическим каламбурным экскурсом: “**Бурбон** – соб. – 1) выслужившийся из солдат офицер; 2) грубый невоспитанный человек, солдафон (от названия последней фр. династии Бурбонов, ставшего ругательным во время Великой франц. революции)”.

В последующих изданиях остались лишь указания на второе значение и каламбурная этимология, в результате чего исказилось освещение семантики слова: “**Бурбон** – соб. – [от названия французской династии Бурбонов] – грубый, невоспитанный человек” (Словарь иностранных слов, составленный бригадой государственного института “Советская Энциклопедия”. М., 1937).

Эта усеченная семантика при странной этимологии с небольшими модификациями фигурировала и в дальнейших переизданиях “Словаря иностранных слов”.

Одновременно со словарной фиксацией щедринский каламбур превращается в этимологию, в которую и сам “этимолог” не верит: «По вступлении (в лице Людовика XVIII) на французский престол, по причинам малочисленности офицеров во французской армии (а может быть, и по политическим) были произведены в офицеры многие солдаты и унтер-офицеры, люди без образования и воспитания. С тех пор у нас в России офицеров из “выслужившихся” называют *бурбонами*, и – он из *бурбонов* или *бурбон* – означает необразованного военного.

Настоящую заметку заключим обычной оговоркой: за что купили, читатель, за то и продаем» (Белов И.Д. Откуда взялись слова “шаро-мыжник” и “бурбон” // Исторический вестник. 1884. Т. XVII).

Этимологические домыслы беллетриста и педагога И.Д. Белова не нашли сочувствия у профессиональных этимологов из-за отсутствия каких бы то ни было следов предполагаемых процессов во французском языке, зато почему-то получили поддержку во многих советских толковых словарях и словарях иностранных слов (с некоторым варьированием семантических сдвигов), а также в некоторых комментариях к текстам. Например, к “Господам Молчалиным” Салтыкова-Щедрина дается следующее “разъяснение”: «Б у р б о н ы – династия французских королей (1589–1792, 1814–1848); наименование “бурбон” стало нарицательным для обозначения грубости, самодурства и солдафонства. К а н т о н и с т – солдатский сын, с рождения приписывавшийся к военному ведомству. С д а т о ч н ы й – лицо, сданное в солдаты: помещиками широко практиковалась сдача крепостных крестьян в солдаты» (Салтыков-Щедрин М.Е. Собр. соч. В 10 т. М., 1988. Т. 3).

Сведения о связи русского армейского жаргонизма *бурбон* с названием династии *Бурбонов* проникли в новейшие исторические и лингвистические справочники, причем значение “выслужившийся из солдат офицер” опускают: “**Бурбóн**, а, м., одуш. По назв. фр. королевской династии Бурбонов (Bourbons) презр. Грубый, невежественный и властный человек” (Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. М., 1998); “**Бурбóн**, иронич. прозвище грубых, невоспитанных офицеров-солдафонов. Появилось в 1814 году, когда в связи с нехваткой командных кадров из дворян в офицеры производили многих отличившихся солдат, что совпало с реставрацией во Франции династии Бурбонов” (Беловинский Л.В. Российский историко-бытовой словарь. М., 1999).

Выводящий этимологию для военного жаргонизма *бурбон* в соответствии с каламбурной традицией из названия династии *Бурбоны*, В.П. Коровушкин считает, что слово *бурбон* в значении “офицер, вышедший из нижних чинов” появилось в офицерской среде сухопутных войск даже в конце XVIII – начале XIX веков, а после 1877 года в период русско-турецкой войны приобрело значение “офицер-солдафон”; в солдатской и офицерской среде употреблялось в последнем значении в первую мировую войну (Коровушкин В.П. Словарь русского военного жаргона: нестандартная лексика и фразеология вооруженных сил и военизированных организаций Российской империи, СССР и Российской Федерации XVIII–XX веков. Екатеринбург, 2000; ср. также *бурбонство* “приверженность к уставу; солдафонство” у морских и сухопутных офицеров, вышедшее из употребления после 1860 гг.), но никаким материалом эти сведения у него не подкрепляются.

Принять этимологические соображения И.Д. Белова в различных их модификациях о связи армейского жаргонизма *бурбон* с названием французской династии *Bourbon* мешает одно простое обстоятельство:

форма *бурбон*, созвучная с названием королевской династии, – не начальная. На русской почве она приобрела такой облик только в 60-е годы XIX века, а до этого ей предшествовала форма *барбон*, как она представлена в известной повести В.А. Соллогуба “Тарантас” (1845 г.) в рассказе отставного солдата (глава XVII): “Помнится, рассмешил еще меня тут Тарасенков седой – этакой хрыч, еще при Суворове служил, а после и в *Барбоны* попал” (Повести и рассказы. М., 1988. С. 326 – комментарий к этому слову нет). В написании прописной буквы в названии чина Барбон в цитируемом тексте сохранена орфография первоисточника (В.А. Соллогуб. Тарантас. СПб., 1845), не соблюдаемая в переизданиях.

Барбонами (от франц. *barbon* “старикашка”) молодые офицеры называли выслужившихся до офицерского чина из нижних чинов лиц пожилого возраста.

Виноваты в преобразовании *барбон* → *бурбон* были события 1859–1860 годов в Италии, когда из Королевства обеих Сицилий, а также из Пармы были изгнаны правившие там династии Бурбонов, что привлекло к ним внимание читающей публики и отразилось на фонетике армейского жаргонизма.

Подобные изменения безударного гласного *a* в *y* знают некоторые русские говоры, например, орловское – *бура́хтаться* “барахтаться”. (Словарь орловских говоров (вып. 1:) А–В. Ярославль, 1989). Для наглядности приведем интересное замечание о произношении великого русского композитора М.И. Глинки, который “никак не мог совершенно очистить своего русского языка от смоленского выговора: так, например, он говорил: *бушмак, самывар, пумада* и проч.” (Русская старина. 1871. Июль. Т. IV).

Любопытно, что фамилии теноров французского Жозефа *Барбо* (1824–1897) и итальянского Энрико *Тамберлика* (1820–1889), певших в России, у Н.С. Лескова в “Полунощниках” (гл. VI) в речи рассказчицы-мещанки приобретают формы *Бурбо* и *Тумберлик*.

Все ошибки в трактовке слова *бурбон* связаны с его устарелостью, что было указано “Толковым словарем русского языка” под редакцией Д.Н. Ушакова, где при этом слове стояла двойная помета *разг*{оворное}, *устар*{елое}, что механически перенесено в первые издания академического четырехтомного “Словаря русского языка” (М., 1957. Т. I), но во втором издании (1981. Т. I) почему-то заменено на дезориентирующую пару помет: *разг*{оворное} *презр*{ительное}. В первом издании большого академического “Словаря современного русского литературного языка” (М. – Л., 1948. Т. 1) оно было подано без стилистических помет, а во втором издании (М., 1991. Т. 1) снабжено загадочной и едва ли правильной для современного языка единичной пометой *разг*{оворное}.

С.И. Ожегов, создавая на базе четырехтомного “Толкового словаря русского языка” под редакцией Д.Н. Ушакова свой однотомный

“Словарь русского языка”, вполне обоснованно отказался от включения в него статьи: “**Бурбон**, а, м. (разг. устар.). Грубый и невежественный человек, первонач. об офицере, выслужившемся из солдат. [От имени французской королевской династии Бурбонов], но в 1972 году в 9-е издание Словаря это слово было включено, вероятно, его редактором. “**Бурбон**, -а, м. (презр.). Грубый, невежественный властный человек (по названию французской королевской династии)” с дезориентирующей пометой *презр[ительное]*, которая впоследствии (к 21-му изданию 1989) была заменена на более верную: “**Бурбон**, -а, м. (устар.). Грубый, невежественный и властный человек”.

“Сводный словарь современной русской лексики: в двух томах” (М., 1991) указывает, что слово *бурбон* в современном русском языке изолировано и производных не имеет, однако двухтомный гнездо-“Словообразовательный словарь русского языка” А.Н. Тихонова (М., 1985. Т. 1) дает двусловное словообразовательное гнездо: “**Бурбон** – бурбон-ск-ий” с сомнительным прилагательным, которое, вероятно, на основании одного искаженно поданного пятистишия А.А. Ахматовой в “Словаре русской поэзии XX века” (М., 2001) связывается не с армейскими бурбонами, а с французскими Бурбонами: “**Бурбонский** *прил.* к Бурбоны (франц. королевская династия) (А) В зеркале двойник б[урбонский] профиль прячет И думает, что он незаменим, Что всё на свете он переиначит, Что Пастернака перепастерначит, А я не знаю, что мне делать с ним. Ахм. 943 (326.3)”.

Впрочем, эту трактовку вполне можно оспорить: здесь речь может идти о волеводстве на поэтическое творчество солдафонского руководства с его безграничной претенциозностью в духе Угрюм-Бурчеева.

Скорее всего, однако, *бурбонский профиль* Ахматовой представляет собой кальку с французского *nez bourbonien, nez à la Bourbon, nez bourbon (nez arqué, aquiline)* “орлиный нос” (Le Grand Robert de la langue française, t. II. Paris, 1985).

Ахматовский загадочный *бурбонский профиль* в чем-то сродни левсковским *бургонским рожам басомпьеров* в велеречивом косноязычии у рассказчицы “Полунощников”, где самым причудливым образом контаминируются загадочное прилагательное *бурбонский* и в династийном и в военном значениях, а также прилагательное *бургонский*, употребляющееся в русском языке в составе названия французских вин из исторической провинции *Бургундия* (франц. Bourgogne), то есть “*бургундских*” вин.

Специальное историко-лексикологическое и этимологическое разыскание помогло преодолеть многочисленные ошибки в трактовке военного жаргонизма *бурбон* в русских словарях советского времени, как поможет преодолеть также сумбурные невнятности, наслонившиеся на неверную этимологию в самых новейших академических слова-

рях “**Бурбон**, -а, м. *презрит*. Грубый и невежественный (обычно заносчивый) человек. По имени французской королевской династии Бурбонов (первоначально об офицере, выслужившемся из солдат)” (Большой толковый словарь русского языка. СПб., 1998).

В этом словаре особое внимание следует обратить на стилистическую невнятность, из которой можно понять, что французские Бурбоны выслужились из солдат.

Совершенно превратное представление о слове *бурбон* дает “Энциклопедия читателя: литературные, библейские, классические и исторические аллюзии, реминисценции, темы, сюжеты, мифологические и сказочные герои, литературные маски, персонажи и прототипы, реальные и вымышленные топонимы, краткие биографии и рекомендуемые библиографии” (Под ред. Ф.А. Еремеева. Екатеринбург, 1999. Т. 1), где после краткой справки о династиях Бурбонов даются странные утверждения: «В переносном смысле слово “бурбон” означает реакционер. Б.т.ж. порой называют амер[иканцы? иканскую] демократическую партию ее политические противники», – отражающие употребление слова в американском варианте английского языка, но не в русском языке, которому такое употребление чуждо.

Все сказанное позволяет утверждать, что в толковании уже утратившегося сейчас слова *бурбон* следует вернуться к тем дефинициям, которые зафиксированы старыми русскими словарями А.И. Орлова, М.И. Михельсона, В.И. Даля – И.А. Бодуэна де Куртенэ в конце XIX – начале XX веков, поскольку эти лексикографы создали свои словари, когда слово *бурбон* еще было живым и его семантическая структура еще не померкла в сознании говорящих. Этимологические соображения современных лексикографов должны быть устранены из толковых словарей как ошибочные и возникшие лишь вторично на базе паронимической аттракции (народной этимологии). Итак, Бурбоны заслуживают если не оправдания, то хотя бы отделения от *бурбонов*, ибо *Бурбоны* не были *бурбонами*, и наоборот.



КОСМОПОЛИТЫ И ПОЧВЕННИКИ

А. В. ЗЕЛЕНИН,

кандидат филологических наук

Когда-то данные обозначения выступали синонимами терминов *славянофил* и *западник*, однако в русской общественной и культурной жизни они заняли особое место, обросли самостоятельными ассоциациями и представлениями, у них сложилась своя языковая жизнь. О формировании переносного значения у термина *почва* в XIX веке, т.е. в ранний этап развития данного слова, писали В.В. Виноградов и Ю.С. Сорокин. Однако без знания истории обоих терминов в XX веке невозможно представить их полный семантический, словообразовательный и прагматический путь в языке.

Вплоть до 40-х годов XIX века слово *почва* встречалось в русском языке преимущественно в “техническом” значении: геологическом, географическом и производственном. Хотя уже в XVIII и особенно в первой трети XIX века появились сравнения почвы с социальными и духовными явлениями (например, у Белинского, Писарева), но интересующее нас переносное значение складывается позднее. Начиная с 40-х годов в русском языке калькируется французское *terrain* “почва”, однако – как это часто случается в языке – калькирование слова осуществлялось в составе словосочетаний: *tâter un terrain* “нащупать почву”, *sonder un terrain* “зондировать почву”, *trouver un terrain* “найти

почву”, *ne pas perdre un terrain* “не терять почвы (под ногами)”, *sur le terrain* “на почве чего-либо”. Так в слове *почва* вычленилось значение “опора, основа, основание; то, на чем можно утвердиться”.

Уже в 50–60-е годы XIX века сначала в русской журналистике, а затем и в литературе появляются такие выражения: *почва здравого смысла* (письмо В.П. Боткина – Фету), *историческая почва* (Благосветлов. Сочинения), *экономическая почва* (он же), *реальная почва социального движения* (Щелгунов. Недоразумения 1848 г.), *почва жизни* (Чернышевский. Очерки гоголевского периода русской литературы), *русская почва* (В.П. Боткин), *подготовить почву* (Данилевский. Девятый вал) и мн. др.

Слово *почва* в переносном значении особенно пришлось по вкусу сначала москвичам – молодым сотрудникам журнала “Москвитянин” (с сильными славянофильскими традициями), а затем и петербуржцам, сотрудникам – также славянофильских – журналов “Время” и “Эпоха”, заимствовавших этот термин у москвичей. В их понимании почва – “родная национальная среда, глубоко народная основа жизни” (Ср. ироническую заметку М. Антоновича по поводу “присвоения” и славянофильского понимания термина *почва* журналистами “Времени”: “О почве (не в агрономическом смысле, а в духе “Времени”)”).

Именно в литературском просторечии возникли термин *почвенник* и его производные *почвенничество*, *почвеннический*: «Старые славянофилы: Аксаков, Киреевский, Хомяков, Самарин и др. сгруппировались вокруг “Московского сборника”, а “Москвитянин” перешел в руки кружка молодых литераторов-славянофилов, впоследствии получивших название почвенников” (Писемский. Критическая биография). Характерно, однако, что в публицистике 50–60-х годов XIX века термин *почвенник* воспринимался как неологизм, за которым прорисовывалось неясное будущее, поэтому слово отсутствует в первом издании Словаря Даля (1863–1866 гг.), чутко ловившего новшества разговорной речи, особенно касавшиеся славянофильской традиции.

В публицистике и литературе последующих десятилетий термины *почвенник*, *почвеннический*, *почвенничество*, *почвенный* стали широкоупотребительными, понятными без комментариев журналиста или публициста: “...принцип самосохранения искони служил регулятором поступков и действий почвенного человека” (Салтыков-Щедрин); “у него, видите ли, принцип есть: всё для народа, и всё посредством народа... Одним словом, он почвенник” (Эртель. Волхонская барышня). Таким образом, происходит сближение термина *почва* с понятием “русский народ”, а прилагательного *почвенный* – с прилагательными “народный”. Такая синонимизация помогла слову “выжить” в после-революционное время; ср. в большевистских изданиях позитивное использование прилагательного *почвенный* и существительного *почвенность*: “Почвенность пролетарской революции..., вот что... пока-

зывают факты” (Ленин. Русская революция и гражданская война), “Японская пролетарская литература является наиболее почвенной пролетарской литературой” (Ленингр. правда. 1934. 27 авг.).

В советское время термины *почвенник*, *почвенничество* в Словаре под ред. Д.Н. Ушакова даны с пометой *истор. лит.*: “почвенничество – течение в русской литературе 60-х годов 19 в., являвшееся разновидностью славянофильства” (Т. 3). Оформление социалистического метода как обязательного для советского писателя отвергало все иные деления литераторов по их склонностям и воззрениям, ср. характерный пассаж в большевистской газете: «...никакого деления на “западников” и “почвенников” в реальной советской литературе нет... Все это выдуманно [формалистами]» (Известия ЦИК. 1933. 8 февр.).

Однако все-таки в литературном обиходе (особенно после “оттепели” начала 60-х годов XX века вновь зазвучал термин *почвенник* как синоним обозначению “писатель-деревенщик”: “В литературных спорах с нашими так называемыми почвенниками поэзия Смелякова... была одним из самых безусловных...” (К. Симонов); “картина воплощает так называемую почвенническую тенденцию” (Новый мир. 1976. № 5), “...личность Есенина можно было бы обобщить в следующих оппозициях: ...почвенник – поэт-мыслитель” (Москва. 1973. № 11).

Лавинообразный поток обозначений *почвенник*, *почвенный*, *почвенничество* начался в конце 80-х годов XX века: *почвенники и космополиты в современной культуре и литературе; почвенничество Достоевского; почвенничество в России; почвенная литература; русская почвенническая критика; почвенничество гейдельбергских романтиков; истинное величие – почвенно; почвенное направление в русской поэзии* и др. (из газет). Часто встречаются словообразования: *неопочвенник, неопочвенничество, антипочвенник, антипочвенничество*. Интересно, что происходит сближение термина *почвенник* со словом *патриот*: “Я не собираюсь уезжать за границу, она меня мало волнует. Я, скорее, почвенник. Гражданин России” (Камчатский комсомолец. 1989. 23 сент.).

Первые упоминания слова *космополит* относятся к XVIII веку; оно заимствовано из французского *cosmopolite*, в свою очередь пришедшего через латинский из греческого *cosmopolitēs* “гражданин вселенной” (у киников и стоиков: люди как граждане [politēs] не отдельных государств, но всей Вселенной [kosmos]). Здесь стоит привести большую цитату из журнала “Ежемесячные сочинения”, где подробно объяснялось это новое для русского языка и культуры понятие: “По признанию всех честных людей, космополит, или гражданин мира, для достойнейших членов человеческого общества; оно никому не приличествует, кроме показывающему самим делом, что не токмо совестной он гражданин отеческого своего города, не токмо верной подданной, но и член того великого союза, по коему нет различия между

народами, нет гонения для закона, нет презирания нижних, но ко всем людям всякого звания равномерное доброходство и благодеяние. Сих качеств исполненной человек может по правде космополитом, или гражданином всего света, называться и то ему приносит великую честь..." (1783.V). Однако новизна данного термина для той эпохи была очевидной, он был знаком немногим, поэтому тот же журнал печалился: "не все имеют об нем точного и справедливого понятия".

В русском языке XVIII века еще не было устоявшегося графического оформления слова, поэтому наряду с *космополит* встречается также *козмополит* (в переводной книге "Наставления политические барона Билфельда". Перев. с франц. Ф. Шаховским, 1768 г.; см. также: Десницкий С. Материалы для комиссии об Уложении 1768 г.). Практически во всех контекстах того времени после слова *космополит* (*козмополит*) следовало пояснение, показывающее неадаптированность, неосвоенность термина – "гражданин всего света" или даже "житель целого мира", "мирожитель", "всеградный"; "космополит, житель целого мира. По любви своей к человечеству Суворов называет себя мирожителем" (Жизнь Суворова, им самим описанная... СПб., 1819. Ч. 2).

В первые годы освоения термина в русском языке одни журналы видели в нем позитивное содержание, другие – негативное: "Сей космополит, хвастающийся иметь везде по своему желанию отечество, осмелится ли равняться со славными мужами, служившими со славою своему отечеству?" (Общественный человек. М., 1787); "Космополит есть какое-то ложное, двусмысленное, странное и непонятное явление" (Белинский), однако в любом случае в слове совершенно отчетливо просвечивало этимологическое значение. После Французской революции 1789 года смысл его сузился, ограничиваясь только политическими контекстами: "... я люблю состояние космополита и не мешаюсь в партии" (Корифей. 1802. Кн. 1); "космополит, человек всяческий, равносторонний, непривязанный ни к одной (партии) стороне" (Там же).

В первые десятилетия XIX века в русском языке отмечают первые факты употребления слова в публицистике и литературе в смещенном значении, весьма далеком от первоначального: "политические распри не входят в расчет женских склонностей – в этом отношении они истинные космополиты" (Марлинский. Вечер на кавказских водах); "... для сего нужно иметь ум космополитный, который легко уживался бы на почвах, ему чуждых" (Вяземский. Фонвизин); "Один – космополит – трепещет в вышине, / Как точка малая, веселый жаворонок, / <...> Да воробей еще – другой космополит – / По кровлям и в садах и скачет, и пищит" (Огарев. Летом); "Русские водевили... какие-то космополиты, без отчества и языка, какие-то тени без образа..." (Белинский). Ср. также производные: «жалким "космополитничаньем" было уничтожение крепостного права...» (Вестник Европы. 1809.

№ VII); “(Воспитание) не умело теснее согласовать необходимое условие русского происхождения с независимостью европейского космополитства” (Вяземский. Фонвизин); “... национальное дело легко переходило в международное и космополитическое, точно наступило время братства народов” (Шелгунов. Воспоминания).

Русская культура и русский менталитет пытаются искать ключевые признаки в понятии “космополит (космополитизм)”, которые изменяются от эпохи и эпохе. Во второй половине XIX века под этим термином понимали самые разные явления, тесно связанные с текущими российскими событиями (в частности, с отменой крепостного права и новым осмыслением свободы): *самостоятельность, независимость от других людей* – “Я ...родился космополитом, не был связан ни с какою почвою, не был человеком сословия, кружка, семьи” (Помяловский. Молотов); *отсутствии привязанности к одному месту, человеку* – “Ведь давно известно, что крестьянин наш чистейший космополит” (из разговора двух помещиков. Эртель. Записки Степняка); *проявление чувства солидарности и коллективизма* – “Сознание родового единства, патриотизма, космополитизм – таковы... стадии в развитии... чувства солидарности” (М. Ковалевский. Социология); *беспочвенность, отсутствие духовных, народных и национальных корней* – “Космополитизм – чепуха, космополит – нуль, хуже нуля; вне народности ни художеств, ни истины, ни жизни ничего нет” (Тургенев. Рудин); *всеобщность, универсальность, общераспространенность* – “Среди этой толпы идет шумный говор на всех языках, и раздается пьяный космополитический смех” (Станюкович. Василий Иванович); вообще *мифологическую ступень развития человеческого сознания* – “Общечеловеческое пробивается в искусстве только сквозь национальную форму, а если и есть космополитические, международные мотивы, то они все лежат далеко в древности...” (Крамской. Письмо Репину от 20 авг. 1875 г.). Именно в таком поиске сопоставлений и осуществлялась “шлифовка” семантических признаков термина *космополитизм* и наполнение его своим, “отечественным” содержанием и прагматикой.

На рубеже XIX–XX веков появляются новые производные: *космополитичный* – публика сегодня... национальна, а завтра космополитична” (из газет); *космополитский* – “Патриотизм всюду падает. Национализм уступает космополитскому безразличию” (из газет); *космополитизироваться* – “Позднее же ... чувство дружелюбия обнимает все государства и даже все человечество, чувство это космополитизируется” (Исаев. Политическая экономия); разовые номинации типа *космополитки-дамы* – «Человек, которого никогда не видали на берегу в обществе “космополиток-дам” или туземных разноцветных красавиц” (Станюкович. Пассажира).

В революционные годы у большевистских авторов еще сохранялось расширительное и нетерминологизированное употребление сло-

ва *космополит* в значении “тот, кто не привязан к какому-либо определенному месту; мигрант”: “От сыновей, отправляемых в Питер 12 лет, ... нельзя ожидать... привязанности к родительскому крову; они становятся невольно космополитами” (Ленин. Развитие капитализма в России); “[Рабочие] старались держаться земляк к земляку, и только космополиты босяки сразу выделялись” (Горький. Коновалов). Даже в 30-е годы у слова не было негативной оценочности: “Я [Герберт Уэллс в разговоре со Сталиным] много... думал о необходимости пропаганды идей социализма и космополитизма в широких кругах инженеров, летчиков ... и т.п.” (Большевик. 1934. № 17). В Словаре под ред. Д.Н. Ушакова совсем не проступает отрицательная прагматика термина: “**Космополит** – человек, не считающий себя принадлежащим к какой бы то ни было национальности, собственно признающий весь мир своим отечеством” (Т. 1). Такое толкование вполне понятно, поскольку находилось в одном русле с официальной доктриной о расширении социализма (коммунизма) в мировом масштабе, поэтому использование термина в позитивном смысле призвано было подчеркнуть неизбежность и неотвратимость этого процесса; ср. тезис марксизма, что у пролетариев в капиталистическом обществе нет своего отечества, также и национальность не играет никакой роли, их “отечеством” является весь мир.

Изменение прагматики термина *космополит* (*космополитизм*) началось в конце 40-х годов. Причиной были социально-политические факторы: победа СССР во Второй Мировой войне, поиски очередных “врагов народа” для демонстрации марксистско-ленинско-сталинского тезиса об обострении классово-борьбы, формирование нового антикоммунистического блока, начало “холодной войны”. В слове *космополит* произошло сужение семантики – центральной стала сема, инициированная официальной идеологией, – “преклонение перед другими странами в ущерб своей”, прежде всего перед странами капиталистического Запада. Во всю силу зазвучали клеймящие эпитеты и определения: *низкопоклонство перед Западом; антипатриотические взгляды; антинародный; отщепенец; чуждые народу взгляды; безродный* (именно в этимологическом значении “без (на)рода, а значит – и без Родины”), особенно применительно к области философии, литературы, литературной критики, музыки, биологии (генетики). Приведем фразы из прессы того времени: *антипатриотическая группа критиков-космополитов; статья безродным космополитом; разнузданная проповедь национализма и космополитизма; антинародные течения формализма и космополитизма; мертвый космополитический модерн*. Происходило сближение термина *космополит* с другими словами, также понавшими в немилость: «“Вейсманист” зазвучало грозно, зазвучало зловеще, вроде хорошо известных “троцкист” и “космополит”» (В. Шаламов. Вейсманист). Против космопо-

литов была объявлена настоящая война: "Космополит – человек без родины. Космополитизм есть идейное оружие империалистической реакции. Эта реакционная буржуазная идеология имеет своей целью подорвать советский патриотизм, оплевать все советское, социалистическое, насаждать и культивировать антипатриотические, чуждые советскому обществу взгляды" (Михайлов. Отчетный доклад на XI съезде комсомола). Эта цитата хорошо показывает систему семантических оппозиций и сопряжений, в которые попал термин *космополит* (*космополитизм*) в 40–50-е годы: *космополитический* = *антисоветский*, *антисоциалистический*, *антинародный*; *космополит* = *антипатриот*, *человек без родины*; *космополитический* = *империалистический*, *буржуазный*.

Явно на периферии общего употребления оставалось (и остается) специальное значение термина *космополит* для именованя некоторых типов растений (животных): "Виды животных и растений с всесветными ареалами распространения называют космополитами (буквально – гражданами мира), или, иначе, панэндемиками" (Пузанов. Зоогеография).

Отголоски употребления слова *космополитизм* как термина, за языковой формой которого могут скрываться насильственные действия по отношению к индивиду, звучат еще в конце 50 – начале 60-х годов XX века: "Невельской рассказывал про Лондон, хвалил доки. [Литке:] ... поосторожнее, братец, по нынешним временам вас сочтут космополитом за такие разговоры" (Н. Задорнов. Капитан Невельской); "Я хотел бы на всех баррикадах твоих, / Человечество, драться, / ... И принять в себя веру людского великого братства, / Не упав до дешевого космополитства" (Евтушенко. Я хотел бы...).

Годы "оттепели" смягчили отрицательную прагматику данного слова, в художественной литературе и специальных изданиях появились употребления термина как прагматически нейтрального: "Характерной чертой французского костюма второй половины XVII века был его космополитизм" (Мерцалова. История костюма); "Капитал по самой своей природе космополитичен" (Аникин. Юность науки). Идеологически заданные контексты термина *космополит* в 70-е годы XX века пошли на убыль, расширив зону использования слова: не только партийно-идеологическая сфера, но и области культуры, ее внешних проявлений; произошло сближение со словами (*все*)общий, унифицированный (*унификация*): *космополитически-снобистская аудитория фестиваля*; *Токио превратился... в город космополитической внешности*; *космополитизация финансово-промышленного капитала*, *космополитизация человечества* (из газет).

Справедливости ради следует отметить, что в партийных изданиях продолжалось идущее из 50-х годов XX века крайне идеологизированное понимание космополитизма: "космополитизм – реакционная бур-

жуазная идеология, проповедующая отказ от национальных традиций и культуры, патриотизма, отрицающая государственный и национальный суверенитет, служащая целям наиболее реакционных империалистических кругов” (Советский энциклопедический словарь. М., 1989). А вот примеры из газет тех лет: *критика космополитизма буржуазной футурологии; реакционная сущность национализма и космополитизма; буржуазный космополитизм как идеология угнетения наций; космополитизм, индивидуализм, аполитичность, свобода любви, религиозные поиски как буржуазные стереотипы образа жизни молодежи*. В официальной идеологии смысловым антонимом космополитизму, как правило, сопровождается определением *буржуазный*, являлся термин (*социалистический*) интернационализм.

Перестроечные годы внесли новые смысловые и прагматические акценты в термин *космополит*. С одной стороны, вновь произошло разделение деятелей культуры, интеллигенции и вообще мыслящих, думающих людей на два лагеря, как в XIX веке: (*нео*)почвенников и (*нео*)западников – (*нео*)космополитов. Сравним – *космополитизированная и денационализированная верхушка партийного руководства; космополитизированная научно-политическая элита; космополитично-демократический* – и одновременно с такими контекстами в демократических изданиях иное отношение к термину и понятию: “*космополит – слово хорошее*” (беседа с Ж. Бло при организации российского ПЕН-клуба). Хотя слово *космополит* оказывается прагматически “расщепленным”, тем не менее эта “расщепленность” существует внутри одного дискурса, не приводя к “охоте на ведьм”, характерной для конца 40-х – начала 50-х годов прошлого века с безусловным отрицанием и даже уничтожением космополитов.

С другой стороны, в современном языке появляются новые производные, показывающие актуальные для нашего общества семантические элементы в данном понятии: *космополитизированный* (развитие в слове глагольных грамматических признаков), *неокосмополитизм, антикосмополит, антикосмополитизм*. Таким образом, термины *почвенник* и *космополит* прошли интересный и сложный путь развития, в значительной мере обусловленный социальными факторами. На протяжении своей истории они то вступали во взаимодействие, противопоставляясь друг другу, то их семантические и прагматические пути расходились, и они практически не соприкасались друг с другом.

Санкт-Петербург

КАТЕГОРИЯ РОДА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

О. М. ЧУПАШЕВА,

кандидат филологических наук

Категория рода существительного – одна из сложных и интересных проблем в русском языке. Конечно, носитель русского языка не ошибется в определении рода слов *дом, стена, окно*. Труднее установить род таких, например, существительных, как *арт-шоу и конкурс-шоу, НДС и МИД*. Своеобразие рода заключается в том, что, охватывая почти все существительные, он определяется на разных основаниях для разных групп существительных. Трудные случаи определения рода имен существительных и рассматриваются в данной статье.

По отношению к категории рода все существительные в русском языке делятся прежде всего на две группы: первая, большая, включает в себя существительные, имеющие род, и вторая, меньшая, – существительные, не имеющие рода. Вторую группу составляют существительные, употребляющиеся только во множественном числе: *финансы, брюки, кулуары*. Их нельзя смешивать с существительными, которые обычно используются во множественном числе, но форму единственного числа имеют, что позволяет определить их грамматический род, например: *сапоги – сапог (м.р.), волосы – волос (м.р.), потомки – потомок (м.р.), амбиции – амбиция (ж.р.)*.

Существительные, имеющие род, распределяются по трем разрядам: мужского, женского и среднего рода. Своеобразна группа существительных общего рода. Эти существительные называют лицо и в зависимости от употребления обнаруживают свойства мужского или женского рода: *Сеня такой умница* (мужской род), *Соня такая умница* (женский род). Сюда включаются эмоционально-оценочные слова (*тихоня, пустомя, неженка, сладкоежка*), иноязычные фамилии на гласный (*Экзюперы, Мегрэ*), несклоняемые фамилии на согласный и гласный (*Малых, Писаренко, Степаненко*), неполные склоняемые имена людей на -а (-я): (*Саша, Женя*), некоторые несклоняемые названия лиц по народности (*саами, манси, коми*).

Род устанавливается на разных основаниях для одушевленных и неодушевленных существительных. Род одушевленных существительных, в том числе и иноязычного происхождения как нарицательных, так и собственных, определяется их лексическим значением, по соотношению с реальным полом обозначаемого лица: *дядя, отец, подмастерье, реферри, Анри* – мужской род; *тетя, мать, мисс, бизнес-леди, Софи* – женский род; запомним, что существительное *дитя* – среднего рода.

Род неодушевленных существительных определяется по грамматическим показателям: можно ли объяснить иначе, почему *око* и *глаз*, *чело* и *лоб*, обозначая попарно одно и то же, имеют разный род? Не останавливаясь на роде исконно русских существительных, обратимся к трудным случаям его определения – это род несклоняемых существительных иноязычного происхождения, существительных – географических наименований, названий газет и журналов, а также инициальных аббревиатур.

Несклоняемые иноязычные одушевленные существительные могут быть мужского или женского рода. Мужской род имеют существительные, обозначающие животных, насекомых, птиц и под.: *пони*, *кенгуру*, *фламинго* и др. Вместе с тем не исключается использование их как существительных женского рода, например: *Вдали проскакала кенгуру. – Но однажды поутру Прискакала кенгуру* (К. Чуковский). Род здесь конкретизируется грамматически – согласуемыми формами глагола и прилагательного. Неверно употребление подобных существительных в значении среднего рода, как в одном из стихотворений: *Как он взвился на юру Свечкой близкою! – Что там выше кенгуру Австралийское* (К. Ваншенкин).

Неодушевленные иноязычные несклоняемые существительные обычно относятся к среднему роду: *клише*, *такси*, *кимоно*, упомянутое ранее *арт-шоу*. А вот *конкурс-шоу* – существительное мужского рода, поскольку первая часть (*конкурс*) склоняется и по грамматическим признакам принадлежит к мужскому роду: *готовиться к конкурс-шоу*, *писали о конкурсе-шоу*.

Вместе с тем в русском языке есть неодушевленные несклоняемые иноязычные существительные, род которых устанавливается часто по ассоциации с родом существительного, обозначающего родовое понятие. Так, существительными мужского рода являются названия ветров (ветер, м.р.): *сирокко*, *торнадо*; названия языков (язык, м.р.): *фарси*; названия некоторых вещественных и предметных существительных: *кофе* (напиток, м.р.; впрочем, в последнее время допускается употребление его как существительного среднего рода. См., например: Орфоэпический словарь русского языка / Под ред. Р.И. Аванесова. М.: Русский язык. 1997. С. 219).

К существительным женского рода относятся такие, как *ауди* (марка автомобиля, ж.р.), *авеню* (улица, ж.р.), *фейхоа* (ягода, ж.р.), *кольраби* (капуста, ж.р.) *салями* (колбаса, ж.р.), *иваси* (сельдь, ж.р.).

По грамматическому роду родового наименования устанавливается и род несклоняемых существительных – топонимов, а также названий газет и журналов. Например: *Дели*, *Хельсинки* (город, м.р.), *По* (река, ж.р.), *Конго* (государство, с.р.), *“Таймс”* (газета, ж.р.). Если одинаковые названия употребляются в наименованиях разного грамматического рода, то они используются в значении того и другого рода

в каждом конкретном случае: *Монако* (государство, с.р.), *Монако* (город, м.р.)

Для определения рода аббревиатур, то есть сложносокращенных слов, инициального типа существуют иные основания. Здесь надо сначала установить, является ли аббревиатура буквенной или звуковой. Род буквенных сложносокращенных слов определяется чаще по роду стержневого слова соответствующего сочетания, например: *НДС* – мужского рода (налог); *РФ* – женского рода (Федерация). Буквенные аббревиатуры обычно не склоняются. Что же касается звуковых аббревиатур (а они, как правило, склоняются), то их род определяется чаще всего по общему правилу, то есть по характеру основы и окончанию: существительное *вуз* с нулевым окончанием и основой на твердый согласный относится к мужскому роду, хотя стержневое слово (заведение) среднего рода. Аналогично: *МИД* – существительное мужского рода, хотя стержневое слово (министерство) среднего рода, Но и здесь есть исключения, о которых следует помнить. Так, *РАН* – звуковая, но несклоняемая аббревиатура включается в разряд существительных женского рода по стержневому слову (академия). Заметим, что в отнесении аббревиатур к тому или иному роду много колебаний, при затруднениях следует обращаться к словарям сокращений русского языка.

И, безусловно, определяя род существительного, надо принимать во внимание возможность лексической омонимии, знать семантику анализируемого слова. Так, существительное *очки*, заявленное в заголовке, обозначающее “оптический прибор из двух линз, а также защищающих глаза стекло, прозрачных пластин, вмонтированных в полумаску” (Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1990. С. 485), стоит вне категории рода, так как имеет только форму множественного числа. *Очки* же как форма множественного числа существительного *очко*, употребленного в одном из значений: “значок на игральной карте или кости, обозначающий ее достоинство в игре”, “в спорте: единица счета для обозначения количества выигрышей”, “узкое отверстие в чем-н.” (Там же) – относится к среднему роду.

Итак, определяя род существительного, следует учитывать его значение (проверить, нет ли омонимии), наличие форм словоизменения (употребляется только во множественном числе или во множественном и единственном; склоняется или не склоняется), происхождение (исконно русское или заимствованное), лексико-грамматический разряд (собственное/нарицательное), словообразовательные особенности (аббревиатура/не аббревиатура).

В. П. АНИКИН. Русское устное народное творчество

Автор учебника – известный ученый-фольклорист Владимир Прокопьевич Аникин. Им подготовлены многочисленные публикации произведений русского фольклора, адресованные широкому читателю. По его замыслу и при непосредственном участии выходят в свет книги ценной серии “Мудрость народная. Жизнь человека в русском фольклоре” (М., “Художественная литература”. Опубликовано четыре тома). Широко известны книги В.П. Аникина “Русская народная сказка” (1959, переизд. 1977); “Фольклор как коллективное творчество народа” (1969); “Календарная и свадебная поэзия” (1970); “Теория фольклорной традиции и ее значение для исторического исследования былин” (1980); “Былина: метод выяснения исторической хронологии вариантов” (1984); “Теория фольклора: Курс лекций” (1996) и др. В поле зрения исследователя оказались и проблемы литературно-фольклорных взаимоотношений.

Учебник “Русское устное народное творчество” (М., 2001) – своеобразный итог его деятельности, книга предназначена для студентов филологических и исторических факультетов университетов, колледжей гуманитарного профиля, руководителей народных фольклорных коллективов. По охвату материала и глубине его освещения она может быть полезна также магистрантам, аспирантам, научным работникам.

В предуведомлении “От автора” В.П. Аникин имел полное право написать: “Книга убедит, как обширно и многообразно устное творчество русского народа, какие у него давние культурно-исторические корни, как пластично выразилась в нем многовековая история страны и какая гуманная культура на началах высокой духовности создана нашим народом” (С. 4). Автор учебника является непревзойденным знатоком традиционного устного творчества народа и с большим мастерством раскрывает перед читателями его богатства.

В.П. Аникин всюду исходит из положения о традиционной природе фольклора в связи с его непрофессиональной творческой основой. Анализ устных поэтических традиций сделан учебно-методическим принципом всей книги, что позволяет объективно оценить фольклор как творчество многих поколений русского народа. Отобраны лучшие образцы текстов фольклорных произведений всех жанров. Со свойственной ему научной пытливостью В.П. Аникин стремится заглянуть в суть каждого явления, выявить его исторические корни. Например, он приводит загадку “Два борова дерутся – промеж них пена

валит”. А затем дает пояснение: «В Древней Руси “боровом” называли не только кабана, но и барана, и такое значение слова зафиксировано письменным памятником XIII века. Поздние памятники письменности и областные диалекты не знают употребления слова “боров” в значении “баран”. Тем не менее в XIX веке наряду с вариантами, в которых речь идет о кабане, борове, хряке, поросенке, вепре, записан вариант, в котором говорится о барашке: “Два барашка грызутся...”. Этот вариант дает основание утверждать, что загадка традиционно восходит к тому времени, когда слова “баран” и “боров” имели одно значение» (С. 502–503).

За каждым жанром, будет ли это песня или поговорка, В.П. Аникин просматривает движение устного творчества из глубины времен к поздним эпохам, когда стало возможным усвоение фольклором литературных произведений и литературной поэтики. Здесь автор по многим вопросам имеет свою, особую точку зрения (например, отделяет воинские песни с историческим содержанием от исторических же песен; не относит загадки к паремиям; различает духовные песни и духовные стихи; считает одним и тем же жанром новеллистические и анекдотические сказки; хронологически ограничивает балладные песни от времени средневековья до конца XVII века; сильно расширяет существующее представление о песнях-романсах; отделяет ярмарочный фольклор от фольклорного театра). Наиболее удачны главы “Паремии”, “Былины”, “Исторические песни”, “Загадки”, “Зрелища и театр”. В них с особенной полнотой проявились уникальная эрудиция автора и его педагогическое мастерство.

Историзм, как присущий В.П. Аникину подход к фольклору, лежит в основе предложенной им новой концепции курса, хотя она и не бесспорна. Возможность возражений допускает и сам автор учебника, когда пишет: “Курс русского фольклора в историческом освещении – дисциплина, находящаяся в становлении. В ней немало звеньев, которые требуют дополнительного изучения. {...} Учет современного состояния науки, как он выразился в концептуальном построении учебника, разумеется, не удовлетворит требованиям всех существующих направлений и теорий...” (С. 715, 716). Для автора учебника порядок и очередность освещения подлежащего усвоению материала диктуется характером отношения поэтического творчества народа к его практической жизни и обрядам.

Первый раздел – “Бытовой обрядовый фольклор” – посвящен произведениям, отмеченным печатью обрядового синкретизма. В этом разделе рассмотрены заговоры, трудовые песни, календарный и свадебный фольклор, причитания. Второй раздел – “Общемировоззренческий необрядовый фольклор” – освещает паремии всех видов, песенный эпос (былины, исторические песни, духовные стихи) и несказочную прозу. Этот материал соответствует новому историческому

состоянию синкретизма, которое характеризуется непрямой связью с обрядовой практикой. И, наконец, В.П. Аникин выделяет последнее историческое состояние фольклора, соответствующее его современной художественной природе. Здесь рассматриваются сказки всех типов, детский фольклор, театральный и ярмарочный фольклор, песни старинной формации (лирические, балладные), песни новой формации (частушки, романсы), анекдоты.

В.П. Аникин бережно, даже, можно сказать, трепетно, относится к каждому поэтическому слову народа. Через весь учебник, все 726 страниц, проходит ценная нить разъяснений и толкований малопонятных или, напротив, всем знакомым слов, нынешний смысл которых оказывается не единственным. Так, в исторической песне встретилось выражение “единую чару с ними требуешь”. В.П. Аникин поясняет, что “требуешь” по контексту означает “потребляешь”, и тут же добавляет: “... хотя не исключено, что это темное место появилось в варианте из сборника Кириши Данилова по недостаточно ясному указанию на священный обряд (треба – приношение, жертва)” (С. 382). В былинах, заговорах и духовных стихах содержится упоминание “креста Леванидова” – “Ливанского, сделанного из дерева с гор Ливана”, – замечает автор (С. 435). В сказке “Лисичка со скалочкой” плутовка производит ряд замен с выгодой для себя: за скалочку – гусочку, за гусочку – индюшечку... В конце концов она требует “невесточку”: “... то есть нечто неведомое, неизвестное”, – разъясняет В.П. Аникин. И становится ясно, почему “невесточкой” оказалась собака (С. 454).

И даже в выражении “шалдар-бул-дары” ученый усматривает удачную игру сказочника словами. Он пишет: «...сказочники играют словами, говоря о беззаботном тетереве: Ему лень заводить домишко – он ночует в снегу, всякий раз думает: одна-то ночь куда ни шла! “Чем нам дом заводить, лучше на березыньках сидеть, в чисто поле глядеть, красну весну встречать, шалдар-бул-дары кричать!”. Тетеревиное бормотание – крик “шалдар-бул-дарь” – замечательная игровая находка: в ней и непонятность, и беззаботность, и та веселость, которая невольно передается слушателям» (С. 584).

В.П. Аникин сам характеризует освещение материала в учебнике как традиционное и высказывается в пользу сохранения плодотворных научных и учебных идей, которые принадлежат, например, таким крупным фольклористам, как Ю.М. и Б.М. Соколовы, авторам учебника “Русский фольклор”, изданного в 1938 и повторно в 1941-м году.

Т. В. Зуева,
доктор филологических наук



“В лесу раздавался топор дровосека”

Эр. ХАН-ПИРА,
кандидат филологических наук

Эту некрасовскую ремарку понимают все владеющие русским языком. И как не понять ее даже младшему школьнику, когда на вопрос “Откуда дровишки?” отвечают: “Из лесу, вестимо; Отец, слышишь, рубит, а я отвожу”. И тут же авторская ремарка.

В Большом толковом словаре русского языка (СПб, 1998) засвидетельствованы два омонима *раздаться*. Один из них употреблен в ремарке. Словарь так толкует значение этого глагола: “Стать слышным (о звуке, звуках); прозвучать. *Раздался стон, кашель. Раздался звонок. Раздалось мерное похрапывание. Раздалась команда*”. Среди примеров употребления есть лишь один случай метонимического значения у этого глагола и, разумеется, значения, которое вошло в язык (т.е. не случай авторского метонимического переноса): “Раздался звонок”. Здесь *звонок* как результат действия специального приспособления, устройства для порождения звука. И звук назван именем этого устройства.

Говорят и пишут: *Раздался выстрел, раздался залп*. Тут *выстрел* и *залп* в языковом метонимическом значении – звук назван по имени действия, породившего его: соответственно выстрела и залпа как таковых. При этом звук здесь возникает, рождается в действии, происходящем в самом предмете (огнестрельном оружии). Аналогично выглядит языковое метонимическое значение слов-синонимов *аплодисменты* и *рукоплескания*: *раздались (прозвучали, послышались) аплодисменты, рукоплескания*. И здесь именем действия названы вызванные им звуки, причём само это действие совершалось для порождения звука.

Раздаться (раздаваться), послышаться (слышаться), прозвучать (звучать) – синонимы. Видимо, между ними есть тонкие смысловые различия. Второе слово указывает на регистрацию звука слухом (слуховым рецептором): получение звукового сигнала человеком. А первый и третий синонимы констатируют само производство звука.

Удары топора по дереву порождают звук. У Некрасова он назван по имени орудия, его порождающего. Это метонимический перенос.

Но какой – языковой или авторский (речевой, окказиональный)? Есть ли в языке модель метонимического переноса названия неодушевленного звукопорождающего предмета на порожденный звук? Есть, но такой предмет должен быть специально предназначен для звукопорождения (т.е. это его функция), например: звонок, сирена, гудок, а также музыкальные инструменты: колокол, колокольчик, гонг, горн (например, *Каждое утро на плацу раздавался (слышался, звучал) горн*), барабан (например, *Раздался (послышался, прозвучал) барабан, и из-за поворота появились скауты*), флейта (например, *Из отворенного окна раздалась (прозвучала, послышалась) флейта*) и т.д. Ср.: “Воспитанный под барабаном, Наш царь лихим был капитаном” (Пушкин).

Значит, в некрасовской ремарке перенос осуществлен по неизвестной языку модели, т.е. по окказиональной. Это авторский перенос названия. И тот, кто скажет: *В лесу раздавалась пила браконьера*, тот использует некрасовскую модель метонимического переноса: название предмета, специально не предназначенного для порождения звука, станет названием звука.

Заканчивая заметку, отмечу странную непоследовательность Большого толкового словаря русского языка. Признавая, что *гудок, сирена, гонг* не только обозначают некие предметы, порождающие звуки, но и сами эти звуки, словарь отказывает в этом же, например, словам *горн, флейта*.

И последнее. Слова *бас, баритон, контральто, меццо-сопрано* и др. называют, как известно, мужские и женские певческие голоса, а также певца и певицу с таким голосом. Обратим внимание: здесь закрепленный в языке метонимический перенос осуществлен переносом названия тембра голоса на обладателя тембра, на человека, порождающего такой голос. А названия музыкальных инструментов и звукопорождающих приспособлений переносятся на звуки, издаваемые ими.

Лексикографические казусы

Знаете ли вы слово *сильё*?

Н. А. ЕСТЬКОВА,

кандидат филологических наук

В “Сводном словаре современной русской лексики” против этого слова стоит только один индекс – Б, которым обозначается “большой” академический словарь (в 17 томах). Приведу словарную статью:

Сильё, я́, *ср. Обл.* То же, что силок (в 1-м знач.). *Рябчиков ловят много сильями. Весь этот снаряд состоит из наклоненного сучка, к концу которого прикреплен волосяной силок.* С. Акс. Зап. ружейн. охотника... 4. *Хорьки попадают в ушканьи петли... и в силья, расставленные на тетеревей и куропадок.* Черкас. Зап. охотн. Вост. Сиб. II, 1.

В этом словаре есть еще одно слово с тем же значением.

Сило́, а́, *ср. Обл.* То же, что силок (в 1-м знач.). *Когда попадет в сило один дупель, начнет биться и трепыхаться, другие кинутся его бить.* С. Акс. Зап. ружейн. охотника... 1.

– Срезневский: *сило*; Вейсманнов Лекс. 1731. С. 187: *сило*; Росс. Целлариус 1771. С. 458: *сіло*; Алексеев, Церк. слов, 1773: *силó*.

Обратим внимание на то, что вторая статья имеет в справочной части несколько отсылок к старым словарям, а первая таковых не имеет. Еще одна особенность: слово *сило* проиллюстрировано только формой единственного числа, а слово *сильё* – только формами множественного: *силья, сильями*. (Заметим, что два из трех приведенных в двух словарных статьях примеров – из одного и того же произведения С.Т. Аксакова.)

Почему же у слова *сило* не приведено множественное число, а у слова *сильё* – единственное?

Все становится ясно, если заглянуть в словарь Ушакова (к которому в справочной части Б отсылки почему-то нет).

СИЛО́, а́, мн. *сила, сил, и силья, сільев, ср. (обл.)*. То же, что силок.

Итак, слова *сильё* в русском языке не существует! Есть областное, диалектное слово *сило*, имеющее варианты форм множественного числа с “наращением” *ј* в основе: *силья, сільев. сильям, сильями*; ср.: *звено – звенья, крыло – крылья, перо – перья* и др. Слово *сильё* “создал” автор словарной статьи Б, “извлеки” его из форм множественного числа, которые встретились в текстах! Действуя таким образом, можно получить слова “звеньё”, “крыльё”, “перьё” и т.п.